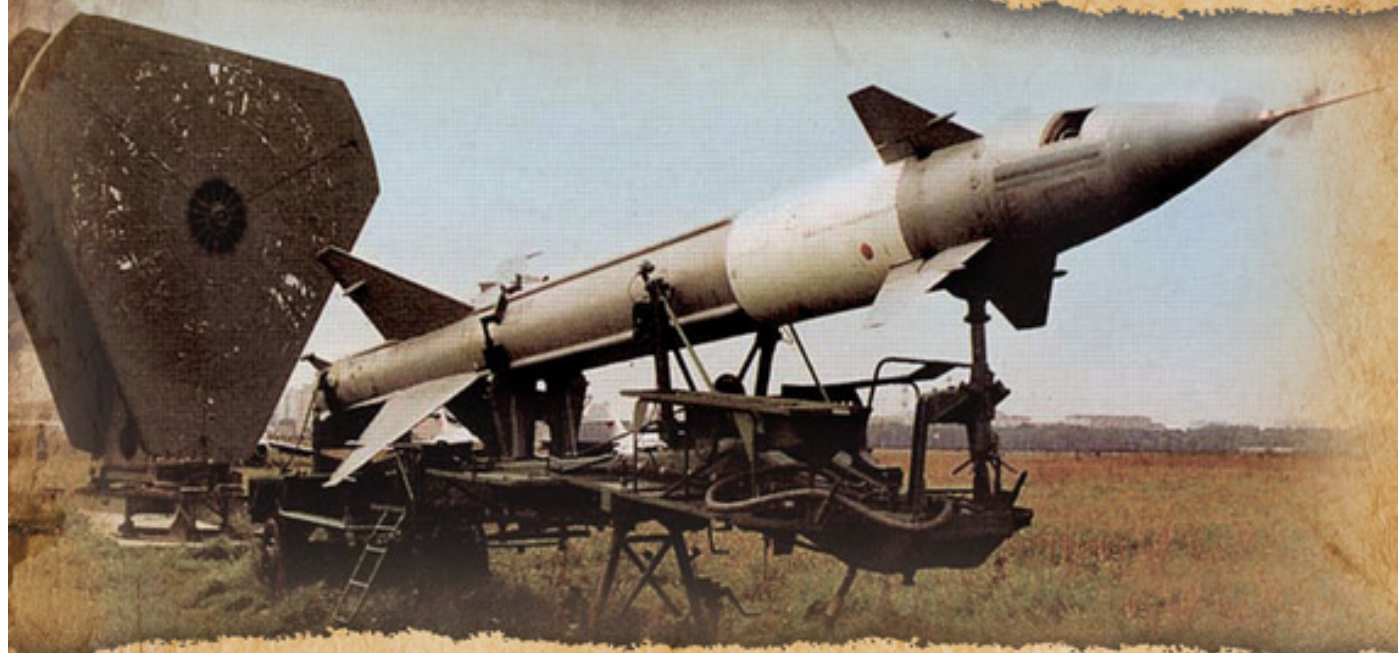




ГОСТАЙНА



**ГРИГОРИЙ
КИСУНЬКО**

**ПРОТИВОРАКЕТНЫЙ
ЩИТ
НАД МОСКВОЙ**

Гостайна

Григорий Кисунько

**Противоракетный щит
над Москвой. История
создания системы ПРО**

«Алисторус»

2017

УДК 355/359
ББК 68

Кисунько Г. В.

Противоракетный щит над Москвой. История создания системы
ПРО / Г. В. Кисунько — «Алисторус», 2017 — (Гостайна)

ISBN 978-5-906979-22-3

С момента возникновения угрозы применения противником межконтинентальных ракет с ядерными боеголовками в СССР началась разработка системы противоракетной обороны (ПРО) – Система «А». В 1958 году начались работы над ПРО нового поколения – А-35. Автор книги участвовал в разработке Системы «А» и был главным конструктором А-35. В книге подробно рассказана не только история создания ПРО, но и о тех, с кем автору приходилось встречаться, – Сталине, Берия, Рябикове, Ванникове, Куксенко, Королеве, Устинове и других, ставших неотъемлемой частью нашей истории.

УДК 355/359

ББК 68

ISBN 978-5-906979-22-3

© Кисунько Г. В., 2017

© Алисторус, 2017

Содержание

Вместо предисловия	6
Глава первая	10
Глава вторая	23
Глава третья	34
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Григорий Васильевич Кисунько

Противоракетный щит над Москвой.

История создания системы ПРО

© Кисунько Г. В., 2017

© ООО «ТД Алгоритм», 2017

Вместо предисловия

«Шифротелеграмма №... от... марта 1961 года.
Моск. время...ч... мин. Сов. секретно, особой важности
Москва, Президиум ЦК КПСС, тов. Хрущеву Н. С.

Докладываем, что 4 марта 1961 года в... часов... минут по московскому времени в район полигона “А” (точка прицеливания Т-2) с Государственного центрального полигона Минобороны была запущена баллистическая ракета Р-12, оснащенная вместо штатной боевой части ее весовым макетом в виде стальной плиты весом 500 кг. Цель запуска – проверка функционирования экспериментального комплекса средств ПРО (система “А”). Средствами системы “А” цель была обнаружена на дальности 1500 км после выхода ее над радиогоризонтом. По данным радиолокатора “Дунай-2” центральная вычислительная машина построила и непрерывно уточняла траекторию цели, выдавала указания цели радиолокаторам точного наведения, рассчитала и выдала на пусковые установки углы предстартовых разворотов, рассчитала момент пуска. По команде ЭВМ был произведен пуск противоракеты В-1000 с пусковой установки № 1. Полет противоракеты и наведение ее на цель проходили нормально, в соответствии с боевым алгоритмом. На высоте 25 км по команде с земли от ЭВМ был произведен подрыв осколочно-фугасной боевой части противоракеты, после чего по данным кинофоторегистрации головная часть баллистической ракеты начала разваливаться на куски. Службами полигона ведутся поиски упавших на землю остатков головной части Р-12. Таким образом, впервые в отечественной и мировой практике продемонстрировано поражение средствами ПРО головной части баллистической ракеты на траектории ее полета. Испытания системы “А” продолжаются по намеченной программе».

Двадцать дней потребовалось, чтобы найти разбросанные в степи остатки головной части баллистической ракеты, сбитой 4 марта 1961 года. Это были три обломка:

- искореженный остаток носовой части конуса, лишенный теплозащитной обмазки, со следами окалины, с рваными оплавленными краями;
- кольцевой шпангоут, тоже искореженный, служивший элементом жесткости конусного стального корпуса боеголовки;
- стальная плита – весовой имитатор (500 кг) штатной боевой части.

Всего в системе «А» было осуществлено 11 успешных перехватов баллистических ракет Р-12 и Р-5 с уничтожением их боеголовок неядерными противоракетами за счет кинетической энергии столкновения боеголовок с поражающими элементами противоракет, а также химической энергии взрыва тротиловой начинки, содержащейся в каждом поражающем элементе. Такой способ поражения тем эффективнее, чем больше скорость сближения противоракеты с целью. То есть его проверка на ракетах-мишенях средней дальности гарантировала еще большую эффективность по межконтинентальным баллистическим ракетам.

В упомянутых выше одиннадцати перехватах головные части ракет-мишеней в трех пусках были снаряжены весовыми макетами боевых частей (как в пуске 4 марта); в остальных восьми пусках это были либо штатные боевые части с 500-килограммовыми фугасами, либо штатные конструкции ядерных боевых частей с нейтральными элементами вместо ядерного вещества. Во всех этих восьми пусках головные части полностью уничтожались на траекториях

в результате взрывов собственных фугасов, инициированных попаданием в них поражающих элементов противоракет. От боеголовки в каждом таком пуске не оставалось ничего, кроме облака взрыва, причудливо расплзающегося в небе вокруг точки перехвата.

В США параллельный системе «А» противоракетный комплекс «Найк-Зевс» отрабатывался в расчете на применение в противоракетах ядерных боезарядов. 19 июля 1962 года был осуществлен первый перехват баллистической ракеты противоракетой этого комплекса с фиксацией промаха, теоретически обеспечивающего поражение цели противоракетным ядерным зарядом. Первый перехват баллистической боеголовки с неядерным («кинетическим») ее поражением был осуществлен в США 10 июня 1984 года.

Однако первопроходцы ПРО хорошо понимали, что создание и успешные испытания системы «А» – это всего лишь первый шаг, хотя и основополагающий, на пути к решению наиболее сложнейшей военно-технической проблемы XX столетия. И как бы разведкой к следующему шагу явилось изготовление и запуск пяти противоракет в специальной комплектации с целью отработки тепловых головок самонаведения и еще десяти противоракет в других специальных комплектациях бортовой оптической и радиоаппаратуры.

По существу проблематики ПРО еще в 1953 году высказались маститые академики при обсуждении письма семи маршалов Советского Союза о необходимости приступить к разработке этой проблемы: «ПРО – это такая же глупость, как стрельба снарядом по снаряду». И под таким девизом находилось немало охотников пострелять интриганскими снарядами разных калибров (не исключая и министерских) по «противоракетным глупцам». Поэтому очень нелегко шли дела по системе «А», не только из-за научно-технических трудностей. И даже работа системы «А» 4 марта 1961 года проходила совсем не так гладко, как можно подумать, прочитав приведенную выше шифровку на имя Н. С. Хрущева. Так уже повелось, что за победами реляциями всегда скрываются «невидимые миру слезы».

Но слезы, даже невидимые, не в характере первопроходцев ПРО. Совсем другое дело – инфарктные секунды:

Когда идут протяжки,
А по спине мурашки,
Инфарктные секунды кувалдят и гудят.
Случались неудачи,
А как же нам иначе
Ракетой научиться в ракету попадать?

Примечание. Протяжка – сигнал (команда) на включение лентопротяжных механизмов контрольно-регистрирующей аппаратуры, подаваемый примерно за 40 секунд до старта ракеты или противоракеты при полигонных испытаниях. Выдача сигнала «Протяжка» сопровождается тремя фоническими сигналами в сети громкоговорящей связи, после которых выдается сигнал (команда) «Старт» – тоже дублируется фонически. Совокупность фонических сигналов «Протяжка – Старт» напоминает передаваемые по радио сигналы точного времени: три длинных и один короткий.

Все мы досыта наглотались таких секунд: и рядовые инженеры, и техники, и главные и генеральные конструкторы. Хотя, конечно же, среди первопроходцев никого нельзя назвать рядовым. Им всем, кому довелось самозабвенно вкалывать по зову отечества во имя его защиты от самого грозного оружия XX века, – всем им, моим незабвенным друзьям, с кем довелось делить и удачи и неудачи, я посвящаю эту книгу, а в ней – хорошо известную им песню:

Балхаш сверкает бирюзой,

Струится небо синевой,
А над площадкою шестою
Взметнулся факел огневой.
Не первый раз я вижу это,
Но как волнуется душа,
Когда летит антиракета
Над диким берегом Балхаша!
А на холмах степного края,
Как в сказке три богатыря,
Площадки первая, вторая
И третья с главной говорят.
Знакомы мне «скорлупки» эти,
В которых вся моя душа:
Ведь в их лучах летят ракеты
Над диким берегом Балхаша.
Мне не забыть, как ранним мартом
В машине нашей цифровой
За три минуты перед стартом
Произошел случайный сбой.
Но в тот же миг машину эту
Мы вновь пустили, чуть дыша,
И все же сбили мы ракету
Над диким берегом Балхаша.
Когда наступит час инфаркта
Или другой случится сбой,
Я вспомню день четвертый марта
И красный вымпел над шестой.
Тот час я встречу песней этой,
А если смолкну, не дыша, —
Прогрохочу антиракетой
Над диким берегом Балхаша.

«Скорлупки» – сферические, диаметром около 30 метров, куполообразные радиопрозрачные укрытия антенн в радиолокаторах системы «А». Впоследствии нашли применение в аналогичных радиолокаторах, наземных и корабельных, предназначенных для слежения за космическими объектами.

В исполнении на мелодию «Дымилась роща под горою...» эта песня звучала как наказ от павших на безымянных высотах в Великой Отечественной: не допустить, чтобы в новом адском пожаре горели и дымились наши рощи, знакомые и незнакомые поселки. Ради этого пофронтовому трудились и вчерашние фронтовики, и бывшие мальчишки и девчонки военной поры.

Надо было видеть радостные лица этих людей, когда они разглядывали упавшие на землю остатки сбитой головной части ракеты Р-12, выставленные на фанерных щитах у входа на главный командный пункт системы «А». До этого событие, свершившееся 4 марта 1961 года, воспринималось ими как нечто радостное, но незримо абстрактное, выраженное в сухих цифрах и графиках, которые надо было перелопатить при анализе работы средств системы в проведенном пуске и подготовке к очередному пуску. В технических протоколах по результатам проведенного пуска они ставили свои подписи под завершающей фразой: «Задачи пуска выполнены». Но в их сознании за этой фразой не было живого овеществленного образа. И только

теперь, разглядывая выставленные на обозрение «железки», люди зримо осознавали результат своего первопроходческого труда. Но выражали свою радость и свою гордость чаще всего одним словом: «Здорово!». И всем было ясно, что здорово не только то, что была сбита баллистическая боеголовка, но и то, что произошло это, несмотря на остановку боевой программы ЭВМ, случившуюся за 145 секунд до подлета баллистической головки к точке ее перехвата противоракетой. И поэтому кто-нибудь уточнит: «Оно-то здорово, но случись еще раз такое или похожее на то, что было в этом пуске, – и начнут выносить нас прямо с пультов с инфарктами». Но ему обязательно возразят: «Зачем выносить? Мы и своим ходом, если надо – даже ползком на бровях».

Пуск 4 марта и последовавшие затем другие успешные пуски противоракет по баллистическим ракетам создатели системы «А» восприняли без шапкозакидательской эйфории и зазнайства. В те далекие мартовские дни 1961 года они продолжали свое будничное дело, вдохновленные чувством глубокого морального удовлетворения от добротной сделанной работы, от успехов, выстраданных в творческих научных поисках, в самозабвенном труде в НИИ, в КБ, на заводах, в забытой Богом пустыне, без отпусков и выходных, сутками напролет без сна и отдыха. Но выражалось это чувство с «технарской» сдержанностью, с достоинством, с профессиональным пониманием того, что сделан лишь первый шаг в адски сложной проблематике ПРО. И с уверенностью в своих силах и способности пройти столько шагов, сколько потребуются на выбранном ими непроторенном пути.

Мы понимали, что впереди – не только новые проблемы и новые трудности, но и новые козни вчерашних скептиков.

Но что нам козни, коль без страха и сомненья
Избрали сами мы нелегкий свой маршрут,
Где нет ни легкого успеха, ни везенья,
А есть зато отчизной вдохновленный труд?
И все ж наивны были наши представленья,
Что только от годов седеет голова,
Что подлость можно отвратить щитом презренья,
Что клевета, обман и зависть – трын-трава,
И что косить ее не наше, дескать, дело —
Сама собой засохнет в праведных лучах.
А ведь она посева глушит так умело!
И не один полезный злак под ней зачах.

Нелегкая судьба выпала нашему злаку, проклюнувшемуся 4 марта 1961 года.

Глава первая

Наша ракета, можно сказать, попадает в муху в космосе...
Н. С. Хрущев, «Правда», 18 июля 1962

*Щит зенитный над столицей
возводили мы не зря,
и моя в нем есть крупица,
откровенно говоря.*

...Тот памятный для меня рабочий день в феврале 1952 года начался с телефонного звонка из Министерства оборонной промышленности. Звонил главный инженер 8-го главка, специально созданного для руководства серийным производством аппаратуры для станции наведения зенитных ракет Б-200, – Сергей Николаевич Савин. Я приготовился к тому, что он, как обычно, попросит кого-нибудь направить на такой-то завод для решения технических вопросов по настройке такого-то блока. Я пообещаю заняться этим делом лично, свяжусь с заводом, уточню подробности и по результатам уточнения направлю туда нужного специалиста. И на этот раз, поздоровавшись с Сергеем Николаевичем, я, не дожидаясь его вопроса, заявил, что, мол, готов выполнить любое задание 8-го главка, направить кого надо и куда надо для решения технических вопросов. Но Сергей Николаевич оказался явно не расположенным поддержать разговор в начатом мной полусутоливом ключе. С подчеркнутой официальностью он настоятельно приглашал меня к себе по делу исключительной важности и срочности, которым лично занимается сам Устинов. Сергей Николаевич сказал мне:

– Ради этого дела вам надо отложить любые другие дела. И пригласить вас по этому делу мне приказал лично министр Дмитрий Федорович Устинов.

Через полчаса я был уже в министерском кабинете С. Н. Савина. Здороваясь со мной, он сделал мне предостерегающий знак молчания, приложив палец к губам, и молча, опасливо озираясь, протянул мне красновато-бордовую обложку из добротного картона, на которой была вытиснена надпись: «Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза». Внутри обложки оказались три листа машинописного текста, озаглавленного следующим образом:

«Генеральному секретарю ЦК КПСС
генералиссимусу Советского Союза
товарищу Сталину Иосифу Виссарионовичу

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Не могу больше молчать о, мягко говоря, вредительских действиях руководителей разработки системы “Беркут” доктора технических наук Кисунько Григория Васильевича и кандидата технических наук Заксона Михаила Борисовича...». Далее в трех специальных разделах излагались «факты вредительства». В левом верхнем углу – резолюция: «Тт. Рябикову, Устинову, Еляну. Разобраться и доложить. Л. Берия».

Прочитав весь текст кляузы и резолюцию, я прежде всего обратил внимание на то, что письмо, адресованное Сталину, попало прямо к Берии. Хорошо это или плохо? Скользнул взглядом по серым, с разрывами тучам, клубившимся в куске февральского неба, выхваченном оконным проемом министерского окна. На миг окно показалось маленьким и зарешечен-

ным. Да, теперь я не только сын врага народа, раскулаченного в 1930 году и обезвреженного органами в 1938 году. Теперь я и сам враг народа, и мне, может быть, уже намечено где-то помещение с таким окошком.

Эти мои размышления были прерваны Савиным, который протянул мне прошнурованный блокнот для секретных черновиков, в котором на первом листе было написано начало будущего ответа Д. Ф. Устинова на резолюцию Берии:

«Товарищу Берия Лаврентию Павловичу.

По Вашему поручению от... 1952 года №... докладываю...».

Далее листы блокнота были чистыми. Устинов распорядился, чтобы Савин предложил мне лично составить текст ответного письма с научно-технической аргументацией по пунктам обвинений во вредительстве, выдвинутых против меня и Заксона. Но при этом официально исполнителем документа должен считаться Савин. А ведь министр запросто мог отписаться в том смысле, что мы, мол, чистые производственники, работаем по технической документации КБ-1, подчиненного Третьему Главному управлению при Совмине СССР, и поэтому не компетентны судить о научно-технической деятельности специалистов КБ-1. И пусть бы разбирались в этом деле начальник ТГУ (Третье Главное управление) Рябиков и начальник КБ-1 Елян.

Много листов было исписано и зачеркнуто, прежде чем я вернул Савину блокнот с окончательным чистовым вариантом текста. Савин тут же вызвал секретчика, приказал срочно отпечатать документ в машинно-писательском бюро, а меня попросил подождать, чтобы лично проверить машинописный текст. Все это было сделано очень быстро, и Савин, прощаясь со мной, сказал, что письмо Устинова будет сегодня же с нарочным доставлено Берии с пометкой «Серия К», что означает «вручить лично».

После этого я вернулся к своим обычным делам, но где-то в глубине сознания не унималась тревога от того, что существуют еще два экземпляра злополучной кляузы с резолюцией Берии, адресованные Рябикову и Еляну. Смутная тревога стала явной, когда ко мне заявился майор госбезопасности, формально числившийся замначальника комплексного отдела по разработке системы «Беркут». В КБ-1 существовала целая команда таких офицеров во главе с Г.Я. Кутеповым – первым замом начальника КБ-1. Один из них был одновременно и начальником конструкторского отдела № 32, состоявшего в основном из заключенных, и начальником спецтюрьмы, в которой содержался этот «спецконтингент».

– Григорий Васильевич, – начал майор, – некоторых наших специалистов беспокоит ряд вопросов, касающихся работ на антенном заводе.

– Какие именно вопросы беспокоят ваших специалистов?

Подглядывая в тетрадь, майор начал путано излагать содержание уже известной мне кляузы.

– А теперь я готов выслушать ваше мнение по этим вопросам, – закончил майор, изготовившись к записям в тетрадь.

– Все эти вопросы специальные, из антенной техники, и вы не смогли их правильно воспроизвести даже из четко изложенного оригинала. Это и понятно: ведь вы не специалист в данной области. Значит, и мои объяснения запишете неточно в эту тетрадь, кому-то неточно доложите, и эти неточности могут обернуться для меня непредсказуемыми последствиями. Поэтому я бы предпочел напрямую поработать с тем самым письмом, в котором против меня выдвинуты перечисленные вами обвинения. Да, именно обвинения, а не безобидные «вопросы некоторых специалистов».

– Не понимаю, о каком письме вы говорите?

– О том самом, в котором меня оклеветали перед ЦК КПСС, и я вправе лично ознакомиться с возведенной на меня кляузой и ответить на нее тоже лично, а не через вашу тетрадь.

Вот тогда, если по моим письменным объяснениям возникнут вопросы у «некоторых ваших специалистов», мы и продолжим наш разговор.

На следующий день такой же разговор состоялся с другим майором госбезопасности. Выходит, что в КБ-1 кто-то решил пустить расследование клеветы о вредительстве не по линии специалистов, а через офицеров госбезопасности. Кто же? Если оба офицера говорили со мной по поручению зам. главного конструктора, в подчинении которого находится их отдел, то почему он не сделал это сам? С ним все же можно было говорить на языке техники.

Не менее странные петляния вокруг меня в связи с «вредительским делом» были затеяны в ТГУ. По поручению главного инженера ТГУ В.Д. Калмыкова его заместитель и начальник технического отдела, скрывая от меня наличие письма с резолюцией Л.П. Берии, пытались провести надо мной процедуру скрытого допроса точно в таком же стиле, как госбезопасники в КБ-1. В ответ я потребовал показать мне письмо с тем, чтобы письменно дать разъяснения на выдвинутые против меня обвинения, но они сделали вид, что письма не существует, и на этом наш разговор закончился, можно сказать, вничью. Если, конечно, не считать того, что все это усилило не покидавшее меня чувство тревоги и страха от мысли о том, что, может быть, этой кухней управляет кто-нибудь прямо с Лубянки, а Рябиков, Елян и главные конструкторы об этом даже не знают.

В моем воображении снова возникал образ маленького зарешеченного оконца, как тогда в министерстве у Савина. А может быть, мне и Заксону повезет, и нас просто переведут в спецконтингент 32-го отдела? Теряясь в подобных догадках, мог ли я предположить, что донос об «антенном вредительстве» обрстет новыми «фактами», которыми Берия займется лично?

К Берии меня вызвали в конце февраля 1953 года с полигона Капустин Яр, как выяснилось, уже по другому навету.

Чтобы вылететь в Москву, мне пришлось добираться до аэродрома Гумрак на вездесущем По-2, который прочно прижился на полигоне с тех пор, как С.А. Лавочкин проводил здесь автономные испытания зенитной ракеты В-300 для «Беркута». На этом самолете пилот Щепочкин раньше любого полигонного летчика-поисковика ухитрился найти упавшие остатки ракеты, обозначить места падения приметными знаками, прихватить наиболее важные узелки ракеты и ее аппаратуры, доставить их лично своему генеральному конструктору. Сейчас Щепочкин продолжал выручать полигон и «почтовые ящики» тем, что мог слетать куда надо в любое время и в любую погоду. В день моего вылета он подрулил на своем обутом в лыжи По-2 прямо к проходной площадке Б-200, – и вот мы уже как на такси мчимся над сверкающей снежными искрами степью, над дорогой, проложенной грейдером прямо по заснеженной целине. Сейчас, когда над ней уже поработали февральские выюги, дорога превратилась в плотный снежный бугор, лентой выющийся по степи, и если снова пускать грейдер, то лучше всего рядом со старой дорогой. Так за зиму здесь появилось рядом несколько заваленных снегом непроходимых ни для какого транспорта бывших дорог, и лишь когда сойдет снег, разберутся водители, где настоящая дорога.

Когда грейдерный «плужок» пропадет в снегу дорогу – радость не только людям с площадок, которые могут теперь добраться в поселок Капустин Яр, где есть баня и буфет, где никто не имеет понятия о полигонном сухом законе. Радость наступает и для степных зайцев, когда раздается стрекот трактора, вышедшего в степь с грейдером. Дошлые зверюшки знают, что после этого большого, только на вид страшного грохотуна останется широченная полоса свободной от снежного покрова целинной травки. Правда, заячье пиршество на травке иногда прерывается темно-зеленоватыми, тархтящими как трактор коробками, которые быстро проносятся по травке, оставляя за собой противно пахнущие струйки теплого воздуха. Ночью они на бешеной скорости гонят впереди себя по снегу, словно огромного зайца, пятно слепящего света, и тогда бывалый заяц знает, что нужно поскорее убежать в сторону и от дороги, и от света, притаиться за снеговой кочкой и переждать. А зазеваешься – выдвинутся из темно-

зеленых коробок отвратительно блестящие черно-синие палки с дырками на концах и начнут изрыгать из своих дырок огонь, грохот и заячью смерть.

Но вот По-2 свернул от заброшенной людьми и зайцами дорожной трассы, и я невольно залюбовался наплывавшей под крыло бескрайней снеговой равниной и бегущей по ней внизу впереди самолета полукружной дугой беспорядочно вспыхивающих и потухающих искр, словно бы взбиваемых на снегу падающими на него лучами. Вспомнил запорожскую степь, край моего детства. Там куда ни глянь – видно, что степь и вдалеке не кончается, а закрывается каким-нибудь бугром, разделяющим две речки или степные балки. И хочется выйти на этот бугор и посмотреть – что за ним скрывается, и так бы идти и идти, и очень любопытно – куда бы пришел? А здесь ничто ничем не закрывается, вся степь – ровная, как доска, куда ни глянь – везде одинаковая, без конца и края.

Самолет идет низко, но не видно даже одиночных былинки прошлогодней травы, пробивающихся из-под снега. Значит, хорошо поработали здесь зайцы, и теперь они промышляют кормом где-то в других местах. Степь безжизненна. Но тут же в опровержение этой мысли я увидел почти по курсу самолета рыжую лису, лениво трусившую по снегу. Говорить в грохоте самолетного двигателя было бесполезно, но я и без слов понял и огонек азарта в глазах Щепочкина, и его кивок в сторону лисы и циферблата часов. Дескать, время у нас еще есть, можно погоняться за лисой. Лиса, заметив самолет, когда Щепочкин повернул его в ее сторону, ускорила бег и что есть мочи пустилась наутек. Она шла по прямой, самолет за ней, и было видно, что зверек выбивается из сил. Потом лиса в изнеможении села на снег, повернувшись злобно оскаленной мордочкой в сторону надвигающейся опасности. Все ее тельце дергалось от частого дыхания, рот был широко открыт и пенился слюной, а язык свисал, как у собаки, томящейся от жары. Но при этом вся поза лисы продолжала оставаться воинственной, и зверек даже угрожающе поднял в сторону самолета полусогнутую переднюю лапку. Когда же самолет прошел над лисой, она, как бы расслабившись, распушила хвост на снегу, некоторое время поворотом головы следила за удалявшимся самолетом. Потом, словно бы вдогонку за ним, снова ленивой трусцой побежала по снежному насту, готовая и убежать от опасности, и, если надо, встретить ее лицом к лицу, даже при чудовищно неравных силах.

Когда подлетали к гражданскому аэродрому, я увидел, как из маленького домика, служившего аэровокзалом, вышли и направились для посадки в Ли-2 пассажиры. Но наш самолет прошел мимо: оказывается, нам посадка назначена на военном аэродроме. Значит, на Ли-2 я не успею. Вот и погонялись за лисой. Что скажет Берия, когда узнает, – а узнает обязательно, – из-за чего вызванный им Кисунько опоздал на самолет? Вспомнив, что при отправке с полигона Калмыкова и Расплетина были задействованы и дрезина, и обкомовские машины к паромной переправе, я подумал, что на аэродром, вероятно, тоже были даны команды от спецслужб об отправке меня в Москву. Возможно, органы уже засекли наш По-2, и московский Ли-2 будет ждать, пока меня доставят с военного аэродрома на гражданский. Но на военном аэродроме, оказавшемся пустым заснеженным полем с единственным запертым на замок домиком, меня никто не ждал.

Теперь надо быстрее добраться до гражданского аэродрома. Это примерно в двух километрах от места стоянки военных самолетов, куда меня доставил Щепочкин. Но добираться надо по колено в снегу. Распахнув шинель, чтоб не мешала, побежал туда, где уже ревел моторами Ли-2. Но глубоко в снегу застревали и сползали с ног галоши. Пришлось взять их в руки. Когда до Ли-2 оставалось каких-нибудь двести метров, резко усилился рев его двигателей, и я увидел, что он двинулся по дорожке и пошел на взлет. Я ускорил бег и начал усиленно размахивать руками; в одной руке был портфель, а в другой галоши. Добежал до места, где только что стоял Ли-2, и продолжал тем же способом подавать знаки уже взлетевшему самолету. Потом зашел в домик, служивший аэровокзалом на этом полностью уничтоженном войной аэродроме. В кассе узнал, что улетевший самолет ушел на Москву, а следующий самолет

на Москву пойдет грузовым рейсом через полтора часа. «Но вам, если желаете, я могу продать билет на этот рейс», – сказала мне кассирша.

Взяв билет, я почувствовал сильный озноб. Бег по колено в снегу в пижонских штиб-летах, надетых на летние носки, – все равно что босиком. Запыхавшийся, разгоряченный от бега, наглотавшись холодного воздуха, я теперь почувствовал сильную боль в горле, мне было трудно дышать, до шепота сел голос. Согреться бы чем-нибудь в буфете, но окошко буфета было закрыто, и мне остается ждать в неотапливаемом сборном домике, где так же холодно, как и снаружи, – разве что без ветра.

Грузовой рейс в 17.00 московского времени выполнял Ли-2, оборудованный в пассажирском варианте, но весь его салон с креслами был завален тюками, опечатанными сургучом или пломбами. Я вольготно примостился возле тюков, которые помягче, и уснул. Разбудил меня в Воронеже кто-то из экипажа, пригласил пройти в аэровокзал, чтобы согреться, пока будут дозаправлять самолет.

В буфете аэровокзала, – может быть, потому, что дело шло к ночи, – не было ничего горячего. Только вода и фрукты. Такими фруктами однажды угощал Ельяна и меня начальник Первого ГУ при Совмине Б.Л. Ванников.

– Такого угощения в вашем ТГУ не дождетесь. Это грейпфруты, импорт. Так что вы давайте, не стесняйтесь, – говорил он.

Но Елян ему возразил, сказал, что это такой сорт апельсинов. Это были ароматные, сочные плоды с темно-красноватыми прожилками в мякоти под оранжево-крапчатой кожурой. Сейчас я взял в буфете полдюжину этих фруктов вместе с двумя по сто пятьдесят водки в стаканах, насыпал в стаканы соли и перцу, хорошо все это размешал и выпил одним махом под «грей-апельсиновую» закуску: своего рода шоковая бомба против «свеженькой» простуды. А когда с экипажем зашел в самолет и снова завалился спать среди тюков, то уже не слышал и как взлетел наш Ли-2, и как он сел в Быково, где меня ждала «Победа», высланная Ельяном. Оказывается, Амо Сергеевич точно знал, каким рейсом и куда я должен прилететь. Добравшись глубокой ночью домой, я позвонил дежурному по предприятию, но трубку, к моему удивлению, взял Елян. Поздоровавшись, он сказал:

– Завтра, а вернее уже сегодня, в девять ноль-ноль увидимся у Василия Михайловича Рябикова. А пока отдыхайте, до свидания.

В кабинете Рябикова, куда я явился в назначенное время, за длинным столом сидели и рассматривали какой-то документ, передавая друг другу машинописные листочки, Калмыков, Елян, Щукин, Куксенко, Расплетин, представитель от Устинова – С.Н. Савин. Я присоединился к Савину, у которого был отдельный экземпляр документа, а точнее, сразу двух документов: технического протокола и докладной записки на имя Л.П. Берии с изложением сути решения, оформленного в протоколе. Суть же этого решения заключалась в том, чтобы антенны, изготовленные заводами с отступлениями от ТУ, зафиксированными военной приемкой, принять и отгрузить для монтажа на местах их будущей эксплуатации, а заводам засчитать выполнение плана. Мне не по душе была половинчатость такого решения: антенны с изъяном, но на монтаж пока можно допустить, а там, может быть, еще придется их дорабатывать или заменять? Оставался открытым и вопрос о том, будут ли в дальнейшем приниматься другие антенны с такими же отступлениями от ТУ. Лучше бы прямо скорректировать ТУ, и тогда приемка антенн пошла бы нормальным порядком, без подписей высоких начальников. Но кому-то, видно, выгодно держать антенщиков в заложниках, чтобы в любой момент можно было сказать, что станции работают плохо из-за плохих антенн, и начать на объектах такой же крутеж, как сейчас на полигоне. Я понимал весь этот подвох, но был убежден, что антенны рано или поздно будут реабилитированы. И эта уверенность подкреплялась имеющимися у меня двумя техническими протоколами, подтверждающими, что корректировка ТУ не повлияет на качество работы антенн в составе станций. Правда, меня настораживало, что Калмыков и Рас-

плетин устроились немного в стороне от остальных и обсуждали отдельные места текста, уже не раз ими перечитываемого.

В кабинет вошел Рябиков, поздоровался со всеми сразу, сел во главе стола, спросил:

– Все ознакомились с документами? Есть замечания? Или будем подписывать? – Он обвел всех взглядом, в конце задержав его на сидевших особняком Калмыкове и Расплетине.

– Можно подписывать, – как бы за всех ответил Куксенко.

– Наш министр Дмитрий Федорович Устинов согласен подписать эти документы, – сказал Савин.

– Тогда прошу приступить. Не забудьте, товарищи, – все четыре экземпляра.

Когда все подписи были поставлены, Рябиков сказал:

– На этом закончим. Сегодня в двадцать два ноль-ноль всем быть у Лаврентия Павловича.

До этого вызова к Берии я ни разу не был в Кремле, не знал, с какой стороны и через какие ворота туда можно попасть, а тем более как пройти к Берии. Чтобы навести справки по этому вопросу, я позвонил Павлу Николаевичу Куксенко, а он вместо ответа просто предложил поехать вместе, в его ЗИМе. Ехали молча. У Павла Николаевича был постоянный пропуск в Кремль, но и мне не пришлось выписывать пропуск: везде на постах были списки, по которым солдаты, проверив документы и взглянув на часы, пропускали участников назначенного у Берии сбора. С любопытством новичка я рассматривал и Кремлевскую стену изнутри, и здания за нею, вдоль которых пришлось проходить к угловому подъезду здания Совмина. Гардероб, вестибюль, два полукружных лестничных марша, ведущих на второй этаж, мягкие ковры, от которых скрадываются шаги в коридоре. Где-то здесь много раз проходил Ленин, наверное, недалеко кабинет Сталина. Здесь на каждом шагу, каждая пядь – живая история. Здесь вершатся чохом судьбы миллионов людей от одного лишь слова, сказанного устно или написанного в виде резолюции в левом верхнем уголке какой-нибудь бумаги. Судьбы таких, как я и мой отец, министров и полководцев.

И странное дело – я не ощущал никакого чувства приподнятости, торжественности, какое, кажется, должен был испытывать, ступая впервые по кремлевской земле, по коридорам с дверями, на которых начертаны звучные имена соратников Сталина. Вместо этого у меня было тягостное ощущение какой-то неотвратимой беды, неприметно витавшей вокруг и подталкивавшей меня к дубовой двери с блестящей металлической пластинкой, на которой выгравированы имя, отчество и фамилия того, кто вызвал нас к 22.00. Пластинка выглядела почти домашнему и напомнила мне оставшиеся от петербургских традиций надписи, которые мне довелось видеть в Ленинграде на дверях квартир профессоров, доцентов, врачей. Да, скорее, именно врачей, потому что в приемной, куда мы зашли с Павлом Николаевичем, уже ждали приема посетители, вид которых – даже у самого Рябикова и Устинова – был как у тяжелобольных, знающих о своей обреченности, или как у родственников обреченных больных. Ждали вызова в кабинет Хозяина молча, а с входящими товарищами здоровались кивками или в крайнем случае шепотом.

Точно в 22.00 дверь из кабинета Берия открыл его помощник Сергей Михайлович Владимирский. На его лице промелькнула гримаса, которую следовало понимать как улыбку, входящую в трафарет любезности, выработанный для посетителей, приглашаемых в кабинет Хозяина.

Кабинет Берия напоминал небольшой зрительный зал с возвышением в виде сцены, на которой громоздился огромный письменный стол Хозяина, уставленный телефонными аппаратами. Вся длину зрительного зала, исключая промежутки у «сцены» и входной двери, занимал широченный стол с приставленными к нему кожаными креслами. Когда все вошедшие расселись за этим столом, я успел подумать, что такая его ширина и расстановка кресел вроде бы рассчитаны на то, чтобы никто из «зрителей» не смог передать что-либо ни на противоположную сторону стола, ни соседу справа или слева.

Берия буквально возник на «сцене» из неприметной боковой двери, будто пройдя сквозь стену, под которую была замаскирована дверь. Мы все встали, а он сказал: «Садитесь». Я обратил внимание и на его кавказский акцент, и на великолепный, с иголки костюм из мягкой темной ткани, на белоснежную рубашку с изысканно повязанным галстуком в вырезе однобортного пиджака и еще на то, что у Берии безобразно огромный живот, который не скрадывался даже хитроумным покроем костюма. Лысая голова и плечи неестественно откинuty назад, как противовес животу, удерживающий его хозяина в вертикальном положении. Вместе с тем при свете ярких люстр блики от пенсне или, может быть, очков с очень тонкой оправой казались лучами той сатанинской силы, благодаря которой этот всемогущий человек видит всех и все насквозь.

Берия сел за свой стол как раз напротив длинного широченного стола, за которым сидели прибывшие по его вызову люди. Восседа над ними, он обвел их взглядом, будто пересчитывая всех и просвечивая каждого. Начал с правого дальнего конца, где с выражением прилежных учеников сидели Калмыков и Расплетин, потом, перескочив через пустой стул, скользнул по лицам Щукина, Устинова, Рябикова. Слева ближе всех к Берии сидел его помощник – тот самый, который пригласил всех в кабинет. Он сидел напротив Рябикова, далее через один стул – Елян, за ним рядом сидел я, а через один стул от меня – главный конструктор Куксенко, оказавшийся крайним по левой стороне стола. Мне показалось, что Берия «просвечивал» меня дольше других, и я старался не мигая выдержать эту процедуру.

– Сначала ознакомимся с одним документом, – начал Берия, поднявшись с кресла и взяв со стола папку. – Я его вам сейчас прочитаю: «Дорогой Лаврентий Павлович! Докладываем Вам, что пуски зенитных ракет системы “Беркут” по реальным целям не могут быть начаты из-за того, что поставленные на полигон заводом № 92 антенны оказались некачественными. Завод отнесся к своей работе безответственно, допустил грубейшие отступления от утвержденных технических условий, а представитель КБ-1 Заксон самовольно разрешил отгрузку антенн с этими отступлениями. Просим Ваших указаний. Калмыков, Расплетин».

– Кто писал эту шифровку? – спросил Берия.

– Мы, Лаврентий Павлович, – поднявшись по-военному, ответили Калмыков и Расплетин. – Мы вдвоем.

– Как это вдвоем? Кто держал ручку?

– Текст обсуждали вдвоем, а в блокнот вписывал я своей авторучкой, – пояснил Калмыков.

Я понял, что зачитанная шифровка была неожиданностью не только для меня, но и для всех остальных присутствующих, кроме, конечно, помощника Берии. Вот чем, оказывается, занимались авторы шифровки втайне от меня и Заксона на полигоне. Они, конечно, знали, что у Берии в сейфе уже лежит кляуза на двух антенщиков-вредителей, что все документы по приемке антенн Заксон подписывал с моего ведома. Значит, явно рассчитывали, что их шифровка сработает как хороший довесочек к той кляузе, как бензин, вылитый на тлеющие угли. Страшно работать с такими людьми. В их действиях угадывается и холодный жестокий расчет, и опыт, и кто знает, какими делами на их совести легли тридцатые и последующие годы.

– А тэпер прочитаем еще один документ, – продолжал Берия. – «Дорогой Лаврентий Павлович! Докладываем Вам, что антенны А-11 и А-12, изготовленные серийными заводами с отступлениями от ТУ, зафиксированными военной приемкой, согласно принятому нами решению отгружаются для монтажа на боевые объекты системы “Беркут”. Рябиков, Устинов, Калмыков, Щукин, Куксенко, Расплетин, Кисунько».

– Какому документу прикажетэ вэрить? – спросил Берия. – На полигоне антенны негодные, а для боевых объектов такие жэ антенны оказываются годными? Объяснитэ мне этот парадокс, товарищ Рябиков!

– Лаврентий Павлович, по-видимому, товарищи Калмыков и Расплетин погорячились и, ни с кем не советуясь, поторопились с шифровкой. Мы посоветовались с главными конструкторами и считаем, что антенны годные, – ответил Рябиков.

– А может быть, они не погорячились, а на них в Москве надавили и заставили подписать этот другой документ об отгрузке антенн на объекты? А оттуда куда будем отгружать? На свалку? Мэншэвистские штучки! И ротозейство! Да, всеми вами, ротозеями, крутит, как ему захочется, какой-то Изаксон, и притом совершенно бесконтрольно обводит вокруг пальца даже вас, академик Щукин! Сыдытэ! – поморщившись, кинул вскочившему с места Щукину.

– Кто непосредственный начальник этого Изаксона? – зловеще приглушенным голосом спросил Берия.

– Я, Лаврентий Павлович. Моя фамилия Кисунько. Все отступления от ТУ Заксон разрешил с моего личного согласия...

– Обратите внимание, Лаврентий Павлович, – вмешался помощник Берии. – Кисунько соглашается со всем, что бы ни предлагал Заксон. А вот у нас есть точные данные, что он игнорирует дельные предложения других специалистов, например, техников и лаборантов... – помощник запнулся, разыскивая бумажку с фамилиями игнорируемых мною техников и лаборантов.

Пользуясь заминкой, я торопливо, чтобы снова не перебили, выпалил:

– Антенны с такими параметрами вполне годные. Это подтверждено специальными испытаниями на обоих полигонах. Протоколы испытаний мною представлены главным конструкторам.

– Я полностью согласен с товарищем Кисунько, – сказал главный конструктор Куксенко.

Теперь Берия уставился в сторону авторов шифровки. Поморщившись, спросил у Расплетина:

– Почему у вас такое лицо? Красное какое-то. Вы нэ пьяны?

– Никак нет, Лаврентий Павлович. Такой цвет лица у меня с детства.

– Смотрите у меня. Я вам покажу... с детства...

После паузы Берия подытожил:

– Я убедился, что дело здесь не простое. Надо разобраться специальной комиссии. Рябиков, Устинов, Елян, Куксенко.

– И Щукин, – добавил Рябиков.

– Хорошо... Но постоянно помните о бдительности. Многому нас учит история с врачами-вредителями... Результаты работы комиссии доложить мне шестого марта, в понедельник.

При этом Берия сделал пометку на настольном перекидном календаре.

Слова Берия насчет врачей-вредителей при постановке задачи для комиссии опять вызвали у меня чувство обреченности, несмотря на реабилитирующую меня и Заксона реплику Куксенко. Похоже, что у Берия еще до совещания сформировалось мнение по этому делу, подготовленное спецслужбами. Да и помощник в том же духе заранее надергал «факты» с техниками и лаборантами. Но, с другой стороны, реплика Куксенко, подразумеваемая как мнение обоих главных конструкторов, то есть и Куксенко, и Берии-младшего, не сулит ничего хорошего и авторам шифровки. Никто не мог предугадать, куда повернет колесо фортуны.

И еще подумалось мне, что все мы у Берии под надежным колпаком, если он с такой точностью подкинул намек Расплетину насчет цвета лица. Точно сработали бериевские стукачи насчет феноменальной непросыхаемости Александра Андреевича!

Все, кто были на «совещании» у Берии, прямо из Кремля проследовали в ТГУ и собрались в кабинете Рябикова. Сюда же прибыли начальник военной приемки ТГУ полковник Червяков и главный инженер спецглавка Минобороны С.Н. Савин по вызовам Рябикова и Устинова. Было уже за полночь. Рябиков, уставший, с кругами под глазами, снял пиджак,

расстегнул ворот рубашки, ослабил галстук, приложился к стакану с боржомом, поставил стул почти на середину кабинета, сел на него верхом, руки, как плети, опустил на спинку стула. Потом вскинул голову и, вытянув вперед правую руку, зло, по-площадному выругался, глядя в сторону Калмыкова и Расплетина:

– Так что же!.. Почему бы нам не посадить парочку антенных вредителей и благополучно покончить с этим делом? Так сказать, концы в воду?

После паузы Устинов предложил:

– Давай так: на завод отправим сначала малую комиссию. От тебя – председатель, от меня – Савин, от КБ-1...

– Кисунько, – предложил Куксенко.

– Хорошо, а от ТГУ поедет Червяков. Можете прямо сейчас, Николай Федорович? – спросил Рябиков у Червякова.

– Как штык, Василий Михайлович, – ответил полковник. – Одному или с кем прикажете? В машине места хватит.

– А вот возьмите за компанию Григория Васильевича, – сказал Елян. – Вы как, Григорий Васильевич?

– Я тоже как штык.

– А мне, Дмитрий Федорович, разрешите выехать завтра поездом, – сказал Савин, обращаясь к Устинову.

Устинов согласился, и я понял, что Савин, пока мы будем в дороге, постарается объяснить заводчанам, как вести себя с нашей комиссией.

Около двух часов ночи, заехав по домам за личными дорожными вещами, мы с Червяковым в «Победе» направились на «дальний» антенный завод. Там нас вечером встретил директор завода и отвез на своей машине на бывшую квартиру Еяна, где был накрыт стол со всем необходимым к стерляжьей ухе. А уха тоже дымилась на кухне, и уже готовы были занять свои места на сковородке стерлядки, приготовленные для жарки. Пока мы приводили себя в порядок после дороги, прибыли главный инженер завода, секретарь парткома и председатель завкома.

Первый тост произнес директор завода:

– Сегодня двадцать третье февраля, и мы рады приветствовать у себя инженер-полковника Червякова Николая Федоровича и подполковника Кисунько Григория Васильевича по случаю дня Советской Армии. Но пусть они не думают, что мы подлаживаемся к ним как к комиссии. У нас чиста рабочая совесть, и нам не страшны никакие комиссии. За Советскую Армию!

Потом были тосты с обеих сторон за завод, за КБ, персонально за присутствовавших. Но заводчане долго не задержались и оставили гостей отдыхать.

Работа «малой» комиссии началась утром следующего дня с прибытием представителя министерства Савина и вызванного с полигона Заксона. Червяков сразу же задал работе следовательский тон и быстро настроил заводчан и Заксона друг против друга. Поднимались первичные документы по пустяковым вопросам, которые в производстве положено решать заводским технологам и конструкторам самостоятельно. Было ясно, что Червяков просто решил на всякий случай понадергать и подстелить соломку в виде фактов самовольства завода и Заксона без ведома военпредов, – вплоть до выбора цвета лакокрасочных покрытий на внешних поверхностях волноводов. В этих вопросах, в которых копался дотошный военпред, заводчане начали все валить на Заксона, а Заксон в свою очередь – на заводчан, получилось глупое препирательство по вопросам, не стоящим выеденного яйца.

Я попытался вернуть Червякова к главному вопросу – об амплитудной разноканальности, по которой высказаны претензии к антеннам, но он заявил, что этот вопрос ясен как Божий день: антенны не удовлетворяют ТУ – значит, некачественные.

– А разрешение Заксона, – извините! – даже лично ваше, Григорий Васильевич, для военпреда не имеет никакой силы. Для нас закон – подпись главного конструктора или его зама на чертежах и на ТУ. Всякие же эксперименты, технические протоколы – все это ваше внутрикабэвское дело.

Сбить Червякова с заскорузлого трафарета военпредского мышления оказалось делом безнадежным, и я решил для доклада перед комиссией Рябикова подготовить справку о проведенных в Кратове и в Капъяре экспериментах и их результатах, доказывающих, что претензии Калмыкова и Расплетина к качеству антенн необоснованны. Кстати, чтобы убедиться в этом, не надо было выезжать на завод ни малой, ни большой комиссии. Вопрос сугубо не заводской...

В день, когда мы вернулись в Москву, печать и радио объявили о болезни Сталина. В воскресенье Сталин умер. А в понедельник – день, назначенный Берией для доклада ему материалов комиссии Рябикова, – Василию Михайловичу по кремлевке вместо Берии ответил его помощник: «Ваш доклад откладывается до особого указания».

Во вторник, 7 марта, прибыв на подмосковный антенный завод, я был удивлен тем, что прямо в бюро пропусков, загораживая доступ к окошку, валялся какой-то пьяный в стеганой ватной спецовке и всячески поносил Сталина, и не только Сталина, нецензурно ругался.

– Вызвали бы милицию или сами выпроводили этого хулигана, – сказал я начальнику заводской охраны, на что тот ответил:

– Мы охраняем завод от проникновения посторонних лиц, а этот лежит вне режимной территории завода, поэтому ни он сам, ни его пьяная болтовня нас не касаются.

Вернувшись домой поздно вечером, я увидел у себя неожиданного гостя – дядю Захара из Мариуполя, слесаря-электросварщика.

– Что, племяшок, – удивляешься, что неожиданный гость?

– Тут удивляться некогда, надо быстрее бежать за выпивкой, пока не закрылись магазины. Ты погоди, я мигом, как тот раз.

«Тот раз» был два года назад, когда дядя тоже приехал поздно, и я побежал в гастроном за пять минут до закрытия. В магазине водки не оказалось, и продавщица предложила:

– Товарищ подполковник, если очень нужно, – разоритесь на коньяк. Посмотрите, какие красивые бутылки.

Разглядывая полку с красивыми бутылками, я отметил про себя: раз рыжее – значит, вино, что-нибудь слабенькое для дам.

– Хорошо, дайте мне две бутылки этого легкого дамского напитка.

– Вы правы, даму угостить таким напитком тоже не стыдно, – игриво заметила продавщица.

Дома дядя, взглянув на бутылки, поморщился:

– Слабовата пошла профессура, даже с рабочим человеком не может отважиться на рюмку водки. Ну, зачем нам эта дамская бурда?

– Извини, но уже поздно, покрепче ничего не было. Зато у нас этой бурды по бутылке на брата. Жажнем стаканами – и порядок. А завтра будет день – будет и водка.

После первого выпитого залпом стакана коньяку дядя открыл рот, заглывая воздух, закашлялся, с укоризной, сквозь выступившие слезы, посмотрел на меня:

– Шутки шутишь над дядькой? Спирту подмешал?

– Да нет же, вот сургуч, печать, посмотри на нераспечатанную бутылку. Проверь этикетку: «Коньяк юбилейный». Даже без градусов.

Дядя, повертев бутылку в руках, расхохотался и спрятал ее в чемодан.

– Похоже, что нам хватит и одной бутылки, а эту я беру с собой и вот так же, как ты меня, подурачу легким напитком других твоих дядьков. А то, может, подкинешь для них еще пару бутылочек?

На этот раз я тоже принес бутылку коньяку, закуску, расположился с дядей на кухне, спросил:

– Ну, как там у вас? Надолго к нам?

– У нас – как и у вас. А здесь я вроде бы уже справил свои дела. Завтра – на поезд и домой. Приезжал посмотреть на мертвого вождя. Давка была невообразимая. Но я все же прорвался.

– Зачем было так спешить? Приехал бы позднее, увидел в Мавзолее.

– Уж очень мне хотелось поскорее увидеть этого изверга в гробу. Да, племяшок, теперь это можно говорить. Пока что беспартийным, как я. Но придет время, и об этом будут говорить все. Ты думаешь – я один был такой в этой давке? Его ненавидел весь народ, кроме разве что подлецов и дурачков. Его ненавидели, но молчали, боялись и даже делали одуроченный вид, – потому что были задавлены энкавэдэшниками. Учти, что теперь все пойдет по-другому. И еще тебе мой совет: ты там где-то близко по работе с Берией и его сыном, – старайся держаться от них подальше и вообще будь поаккуратнее.

– Ладно, дядя, поживем – увидим, а пока что давай выпьем за встречу и за то, что послужило поводом для этой встречи.

– И еще за то, что теперь все пойдет по-другому, и то старое никогда не вернется. И за светлую память загубленных извергом людей, – таких, как твой батько. Это их, а не отдавшего концы тирана оплакивали люди, проходя в Колонном зале мимо его гроба. Конечно, не все, но я уверен, что большинство.

Мы чокнулись стаканами, я слушал дядю, почему-то вспомнил работягу – так ли уж пьяного? – у проходной антенного завода, а сам думал о том, что Берия никуда не делся, что кляуза на имя Сталина о вредительстве и шифровка с полигона лежат у него в сейфе, и от этого никуда не уйдешь.

– И еще скажу тебе, племяшок, по секрету: за твоего отца один поганец-стукач с помощью двух твоих дядей очень даже нечаянно и надежно угодил под колеса поезда... Нечаянно!

Поистине непостижима тайна того священного чувства, которое с неодолимой силой тянет человека к земле его детства и юности. Даже такого детства, какое выпало мне, с клеймом сына и внука кулака, и моей студенческой юности, прошедшей под страхом разоблачения и исключения из института как классово чуждого элемента, в годы величайшей беды, унесшей моего отца.

Почему же я, несмотря на это, с теплым сыновним чувством, а не как злую мачеху вспоминаю землю моего детства и юности? Не потому ли, что в ее недрах, зарытый в расстрельном котловане, покоится, – нет, не покоится, а взывает к живым! – прах безвинно убиенного отца моего? Вот она, пушкинская «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам»!

...Сейчас, когда я пишу эти строки, мне вспоминается теплый тихий летний день 1972 года. Широкая привольная запорожская степь. Здесь на берегу небольшой, но быстрой речушки – село Бельманка, и в нем – дедовская хата-мазанка под соломенной крышей, в которой родились и мой отец, и пятеро его братьев, две сестры. И я еду с мариупольскими родичами на небольшом автобусе из Мариуполя, чтобы поклониться этой хате, где я родился, где качала меня мама в люльке, подвешенной к «сволоку». Автобус, покачиваясь на неровностях проселочной дороги, приближается к памятным мне из далекого-близкого детства местам, где я не был целых сорок лет. Я прошу остановить автобус на пригорке, с которого уже видна луговая пойма, где сливаются Бельманка с Бердой и затем с веселым журчаньем устремляются на юг, к Бердянску. Едем дальше, пересекая луговину, и дорога выводит нас мимо хат, расположившихся вдоль речки, к центру села. Возле сельсовета – обелиск с именами погибших в войну сельчан, призванных из Бельманки. Две каменные плиты, на них – 174 имени. С волнением вчитываюсь, узнаю знакомые с детства фамилии.

Пудак... Это фамилия моей первой учительницы Раисы Ивановны. В скорбном списке она представлена трижды. Широколава... Такая фамилия была у моего соседа по парте в пер-

вом классе, его имени я не помню. Холод Иван Васильевич... Не тот ли это дядя Холод, который в 1930-м пригнал в Бельманку и передал моему отцу первого «Фордзона»? Нагребецкий... Мальчик, с которым я дружил в четвертом классе. Гришечко Сергей Ильич... Это тот самый Сережа, чья хата стояла через одну от нашей хаты, – единственная в ряду, обращенная к Берде «причилом». Это с ним мы купались в Берде, ловили раков. Пять раз повторяется моя фамилия и еще фамилии родственников по маминой линии – Скрябы, Скрябины, Отирко. Кулага – девичья фамилия моей бабушки Павлины – повторяется пять раз. А сколько их, моих кровно родных земляков и просто земляков, было призвано вне Бельманки, куда раскидала их судьба в тридцатые – распроклятые!

Здесь, у обелиска, все более осязаемое волнение, нараставшее во мне по мере приближения автобуса к селу, теперь уже начало перехватывать дыхание, в горле застрял предательский комок. Между тем меня, незнакомого человека с депутатским значком, окружили и с любопытством изучают сельские мальчишки. А я тоже словно бы узнавал в них и себя самого, и тех давнишних мальчишек, товарищей моего детства, чьи имена запечатлены на обелиске. И особенно остро ощутил себя частицей дорогой моему сердцу бельманской глубинки. Пусть она кому-то покажется заурядным захолустьем, но я благодарю выпавшую мне судьбу родиться именно в этом запорожско-хлебоборбском краю, овеянном легендарной славой наших прародичей.

Прародич мой держал орало,
А рядом – саблю и копье,
В походной торбе – хлеб и сало,
А за спиной носил ружье.
Еще носил он осэлэдца,
Обычай дедовский храня,
И тютюном умел согреться,
И под седлом держал коня.
И осэлэдцев тех немало
Успело под курганом лечь,
Чтоб край отчизны и начало
От супостатов уберечь.
Горжусь тобою, Украина,
России кровная сестра,
Правнучка росса-славянина
И дочь Славутича-Днепра.

Я заметил, что в поезде, подъезжая к дому и наблюдая сменяющие друг друга за окном вагона пейзажи, невольно стараюсь не пропустить появление в поле моего зрения даже самых маленьких речек, ручейков. В каждой из них мне хочется найти, – и я непременно нахожу! – черты сходства с речушками моего бельманского детства. И в таких случаях меня охватывает чувство радостной взволнованности, ощущение «вездесущности» моей «малой родины» в Большой Родине, какое, по моему убеждению, было бы недоступно мне, если бы явился я на свет и вырос у берегов большой знаменитой реки. Я бы просто скользил равнодушным взглядом по этой речушечной мелкоте, даже не фиксируя на ней своего внимания. Зато в силу привычки у меня не было бы того благоговения, которое я испытываю перед каждой большой могучей рекой.

Пусть она не велика,
Речка возле Бельмака,

Где малюсеньким ростком
Между Доном и Днестром
Появился я на свет!
Пусть с тех пор немало лет
Отшумело, пронеслось,
И копна моих волос
Поседела у висков!
Все ж обрывки корешков
Неприметного ростка,
Что остались в той земле,
Видно, помнят обо мне,
И меня издавека
Тяготеньем тайных сил
Обелисков и могил,
Корневищами дедов
Из глубин седых годов
Все влекут в края родные,
Где увидел я впервые
Землю Родины и небо,
Колыханье злаков хлеба,
Тополя и отчий дом
Между Доном и Днестром.

Глава вторая

*Я в восемнадцатом году на свет явился
В селянской хате под соломенной стрехой.
К двенадцати в труде крестьянском навестрился,
И подрастал отцу помощник неплохой.
Но юности моей, нескладно пролетевшей,
Беспечной прелести я так и не узнал:
Я рано стал главой семьи осиротевшей,
Когда отца в расстрельный увели подвал.*

Человек не властен над своими воспоминаниями. Они сами являются перед мысленным взором его совести, воспроизводя, как в кино, картины и образы минувшего. В этом фильме человек видит, – хочет он того или нет, – события и людей, а среди них – как бы со стороны – видит и самого себя. И ни одного кадра нельзя ни вырезать, ни подретушировать, ни заменить мультипликацией или дублем. В жизни дублей не бывает: что было – то было. Было радостное и горестное, и такое, что вспоминается с гордостью или со стыдом, с болью, с сожалением, и такое, о чем хотелось бы забыть. Всякое было.

Не знаю, как у кого, но у меня вместо пролога к сокровенному фильму моих воспоминаний всегда возникают и проходят один за другим все те же самые первые кадры, может быть, даже подсознательно запечатленные памятью в раннем детстве и сохранившиеся на обрывках старинных полуистершихся лент.

...Вдоль сельской улицы по ухабистой дороге, покрытой комьями разбитой колесами бричек и конскими копытами грязи, засохшей после весенней распутицы, движется странная двухколесная повозка, у которой одно колесо больше другого. Теперь-то я понимаю, что это передний скат для плуга – колешня по-крестьянски, у которой большее колесо идет в борозде, а меньшее – по невспаханной части поля. Между колесами колешни – нечто, похожее на дощатую дверь от какого-то сарая, к которой впереди прилажены веревочные лямки, и в них по очереди впрягаются изнуренные голодом мужики. На досках лежит, сложив руки на груди, умерший от голода дед Гудко – так называли его сельчане за привычку постоянно что-нибудь напевать (гудеть) себе под нос. У деда ослепительно белые борода клинышком, волосы и такие же белые, из домотканого полотна, сорочка и штаны. Сзади на досках возле дедовых ног сидит малыш. Ему сказали, что дедушка – мамин папа – переезжает в новую хату. На ухабах, чтобы не упасть, мальчик хватается за костлявые босые ступни, обтянутые пугающе холодной, посиневшей кожей. При каждом толчке они, как и мальчик, подпрыгивают на досках, от этого мальчик вздрагивает, ему становится страшно, и он просит, чтобы мать взяла его на руки. Но она с трудом шагает за повозкой, какие-то женщины поддерживают ее под руки, помогают ей поправлять дедовы ноги, когда они сползают к краю доски.

– Потерпи, сынок, скоро приедем, – говорит ему мама.

Все это происходило в апреле 1922 года.

Шел мне тогда четвертый год, но я и сейчас, будто наяву, вижу посиневшие дедовы ноги в стоп-кадрах моей памяти.

Зато мне основательно довелось похозяевать с другим моим дедом, которого звали то ли Трофимом, то ли Трифоном, – как правильно, никто не знал из-за какой-то путаницы в церковных записях. Бабушка Павлина называла его Трихванчиком. В отличие от деда Гудко, этот дед не гудел, а молча посапывал, занимаясь по хозяйству. Скупой на слова, он лишь изредка

замечал мне, чтоб я не вертелся у него под ногами (или руками) и не мешал работать. Тогда я напоминал деду:

– Не верчусь, а помогаю. Вы же сами просили!

Дед соглашался с этим и тут же придумывал мне какое-нибудь дело: принести кружку воды, отнести кружку обратно, подать молоток, лежавший у него под рукой. Деду нравилось, когда я «вертелся» около него, относился ко мне как-то по-особому. Уже будучи взрослым, я узнал, что он как бы чувствовал себя виноватым в том, что не уберег мою мать-солдатку от тяжелого крестьянского труда, и у нее родилась мертвая девочка, которая была бы моей старшей сестренкой, и это чувство выражал своим вниманием ко мне. И все же дед не раз получал нагоняй от бабушки Павлины за то, что не уберег ребенка, то есть меня. Первый раз – когда я напоролся ногой на косу, только что отточенную дедом. Второй раз я помогал деду провеивать зерно на сортировочной веялке, и мне вентилятором раздробило мизинец левой ноги, из которого «фершал» Иван Иванович удалил потом две или три оказавшиеся лишними сахарно-белые костяшки. Зато дед смастерил для меня повозочку, на которой мать возила меня к «фершалу». Было и такое дело: дед хлопотал возле ярма для волов, а в это самое время пес Рыжий прокусил мне правую руку за то, что мне захотелось сесть на него верхом.

Мне очень нравилось помогать не только деду, но и другим взрослым. Например, дяде Захару, который, оказывается, целый год жил и учился у сапожника в волостном центре, а дед за это платил зерном тому сапожнику. Было очень интересно смотреть, как дядя Захар снимал мерку с ноги, по мерке мастерил деревянную колодку, на нее натягивал заготовку из кожи, ставил стельку, подметку, прошивал где надо дратвой, накатывал ранты... И так из его рук выходили то сапоги, то башмаки – кому что надо, на любой размер и фасон. Была и у меня работа для дяди Захария: ссучить и просмолить дратву с щетинковым волосом на конце, наколоть деревянных шпилек, которыми прибивают подметки. Все это я старался делать хорошо, и дядя Захар всегда, принимая у меня работу, говорил, что я молодец.

Особый восторг у меня вызывало появление на дедовом подворье самого старшего из моих дядей Трифоновичей – Ивана, выделившегося от деда на самостоятельное подворье. Дядя Иван открывал кузню, и тогда уж мне находилась наиважнейшая работа: поддувать воздух в горн кузнечным мехом. Но самое интересное начиналось, когда дядя Иван выхватывал из горна щипцами раскаленный кусок железа и выкладывал его на наковальню, возле которой наготове стоял кто-нибудь из его младших братьев с большим молотом. Дядя Иван своим небольшим молотком ударял по железу, а молотобоец по этому же месту бил молотом, – и далеко по селу разносилось: дзинь-гуп, дзинь-гуп...

На этот перезвон начинали собираться на разговор мужики из ближайших дворов. Много интересного довелось услышать мне в эти вечера в кузне. Дядя Иван рассказывал, как он был в услужении и обучении у кузнеца, как воевал за веру, царя и отечество, был в австрийском плену. Иногда в разговор вступал дед Трифон-Трофим.

Оказывается, когда дед был еще мальчиком, то обе речки, у слияния которых стоит село, были побольше, и в них водилась крупная рыба – не то что нынешняя мелкота. К примеру, в Берде вода закрывала весь правый обрывистый берег, красовалась затонами и плесами над нынешними огородами на левом берегу, которые были тогда дном реки, наполняла ров, что начинается у изгиба речки на правом берегу. Сейчас этот ров обвалился и почти зарос травой, и только в самом его начале бьет изумительно чистый холодный родничок. А речка набирает свою былую силу только в весенних паводках или после сильных ливней. И еще слышал дед, что когда-то этот теперь обмелевший ров и речка были границей между запорожско-российскими и татаро-турецкими владениями на запорожской земле. Подумать только: здесь были турки!

Рассказывал дед и о большом степном кургане за селом, который, правда, скрадывается за массивом Бельманского леса, высаженного помещиком Свягиным. Этот курган называют

и Бельмак-Могилой, и Горелой Могилой, потому что, по преданию, в давние времена на нем был заживо сожжен турками храбрый запорожец по прозвищу Бельмак. Это прозвание перешло и к кургану, и к текущей от него степной речушке Бельманке, и к раскинувшемуся вдоль нее нашему селу Бельманка. Мне довелось побывать у Острой Могилы, что недалеко от Бельмак-Могилы, когда дед взял меня на сенокос. Сам он косил мягкую душистую луговую траву, а я охапками таскал ее к «своему» маленькому стожку. Дед тоже сделает себе «взрослый» стожок, но к вечеру, когда трава немного подсохнет.

Потом я начал мастерить и спускать по течению степного ручья камышовые кораблики – однотрубные, двухтрубные и даже трехтрубные. И обнаружил диких утят в камышовом мелководье. Они вроде бы и не боялись меня, но в руки не давались. Набегавшись за корабликами и утятами, побрел я к своему стожку и там уснул. И приснился мне запорожец Бельмак, лицом точно как мой дед, но одетый как казак Мамай, нарисованный изнутри на крышке сундука у соседа – дяди Кузьмы. У запорожца была кривая, как дедова коса, сабля, и стоял он на самом верху Горелой Могилы, а в траве, прикинувшись будяками, к нему с разных сторон подползали вороги в красных чалмах и фесках, а то и скакали верхом на огромных, как лошади, кузнечиках. Я был тут же на кургане и подсказывал деду Бельмаку, с какой стороны ближе всех подползала вражья сила, а он взмахивал своей саблей-косой, и сверкала она над красноголовыми будяками, и шелестела падающая вместе с ними высокая трава. И так косил дед целый день, а к вечеру, когда трава подсохла, турки подожгли ее со всех сторон, и полымя начало подступать к деду Бельмаку и ко мне, и стало очень жарко, как бывает, когда приблизишь лицо к дверце «грубы» – лежанковой печки, в которой полыхает солома... От этой жары и от пламени, обжигающего лицо, а может быть и от припекавшего меня на стожке полуденного июльского солнца, я проснулся. А дед за это время и вправду – ого, сколько накопил травы!

Свой первый день в школе я хорошо запомнил потому, что был изумлен сложенными «из каменного кирпича» стенами, железной кровлей, каменными, гладкими, как стекло, полами в коридоре, деревянными, да еще крашеными, полами в классах. Мне, как и другим ребятам из саманных хат с соломенными крышами и глиняными полами, обыкновенная школа из обожженного кирпича показалась сказочным дворцом.

На первом уроке Раиса Ивановна повесила на классной доске картонку с напечатанной на ней огромной буквой «А». Это было первое задание первоклассникам: выучить букву «А».

А на последней парте сидели два третьеклассника, и учительница дала им задание выучить наизусть стихотворение-загадку:

Мальчишка в сером армячишке
По дворам шныряет, крошки собирает,
На гумне ночует, коноплю ворует.

Затем учительница ушла в соседний, второй класс, но после ее ухода среди первоклассников началось что-то невообразимое. Кто-то за кем-то гонялся, кто-то бегал по партам, кто-то с кем-то боролся, в классе стоял сплошной крик и визг. Пожалуй, только один я тихо сидел на своем месте, напуганный страшными рассказами взрослых о том, как учителя бьют шалунов линейками. Правда, это было до революции, но по привычке случалось и теперь.

И все же отсидеться паинькой в этом всеобщем дебоше мне не удалось. С криком «мала куча» на меня налетел сосед по парте, затем на нас с такими же криками начали валиться другие мальчишки, в разных местах возникло еще несколько «малых куч». Но вернулась Раиса Ивановна, все снова заняли свои места, в классе стало тихо. Строго отчитав ребят, учительница велела им смотреть на доску и кричать хором:

– Это буква «А»!

Дети с охотой повторяли эту фразу, стараясь перекричать друг друга. Всем понравился этот организованный галдеж, узаконенный самой учительницей. К тому же она пригрозила, что кто не будет кричать – останется «без обеда», то есть после уроков будет подметать школьный двор или просто час или два отсидит в классе. Поэтому и я старался перекричать своего соседа по парте, хотя еще до школы выучил не только буквы, но и успел перенять от матери другие премудрости двухклассного церковноприходского образования.

А учительница все же нашла способ поддерживать порядок в первом классе, отлучаясь во второй класс: она поручала присматривать за нами третьеклассникам. Правда, эти верзилы-переростки сами были отъявленные шалуны, но доверие обязывает, и стражи порядка исправно несли службу, а уж оплеухи провинившимся первачкам выдавали безотлагательно. Случались и злоупотребления властью, когда иной первачок оказывался без вины виноватым только потому, что отказался угостить стража харчами из засаленной торбочки, которая приторачивалась к перекинутой через плечо на лямке другой полотняной торбе для книг, тетрадей, грифельной доски, пенала и пузырька с чернилами.

Наша «новая школа», построенная после революции, была трехклассной, а четвертый класс был только в «старой» школе, находившейся рядом с церковью и сельсоветом. Для всех моих одноклассников, кроме меня и Степы Жилко, образование закончилось тремя классами. Но и за эти три года многие из них могли посещать школу только между концом осенних и началом весенних полевых работ, да и зимой часто пропускали уроки, будучи занятыми по хозяйству, особенно те, кто был единственной опорой своих овдовевших в войну матерей. В иных семьях дети ходили в школу поочередно, имея одну на всех пару обуви.

Степа, мой товарищ по четвертому классу, оказался единственным от нашего села участником Всесоюзного слета пионеров-ленинцев. Вернувшись из Москвы, он изумлял ребят подаренной ему парой железных коньков и прихваченным где-то куском телефонного провода. Правда, ни Степа и никто из ребят не имел понятия, что можно кататься сразу на двух коньках, и поэтому Степа подарил мне «запасной» конек. Для нас, сельских ребят, недостижимой мечтой был один самодельный деревянный конек в виде привязанной к обуви деревянной колодки, заостренной вниз клином с закрепленным вдоль кромки клина железным прутиком – «подрезом». Лучше всего для «подреза» подходил кусок ободка от старой косы, но поди дождись, пока коса «состарится»! А из других железок в нашем селе лишь изредка, – если повезет, – случалось подобрать у поповой или учительской хаты пустую банку от гуталина с нарисованным на ней слоном и надписью: «Подделок остерегайтесь».

Зато мы со Степой, бывало, пыхтим и топаем по дороге в школу или из школы через бугор по наезженному санями снегу, отталкиваясь свободной от конька ногой и скользя выставленной вперед другой ногой на коньке. А при случае наберешь скорость с горки и мчишься потом на одной ноге, приседая и поднимаясь на ходу и выписывая кренделя в воздухе другой ногой!..

У моего деда было шестеро сыновей и две дочери, младший сын Ильи был ровесник старшему внуку Ваньке – сыну дяди Ивана и всего лишь на четыре года старше меня, своего племянника. Между Ильей и Ванькой иногда возникали стычки, когда Ванька вдруг отказывался признавать верховенство над собой Ильи как дяди и даже заявлял: «Пусть дядя сначала сопли подберет!». Но случалось это редко, так как конфликтующие стороны жили далеко друг от друга, на разных подворьях.

Семья деда, семьи выделившихся старших сыновей Ивана и Василия, моего отца, и семья проживавшего в дедовой хате третьего по старшинству сына Павла вели хозяйство единой дружной большой семьей. Общими были пара коней, плуг, сеялка, бороны, «букарь», жнейка-лобогрейка, веялка, бричка, которую можно было перемонтировать в арбу и обратно, два молотильных катка.

Катки, веялка, все необходимое для молотьбы постоянно находилось на дедовом подворье, и здесь всегда устраивался молотильный ток. Все намолоченное за день зерно ночью про-

веивалось и загружалось в камору – так называлось помещение под крышей дедовой хаты, без окон, но с маленьким душниковым лазом для кошки, отделенное глухой стеной от сеней, служивших зимой и стойлом для лошадей. Из дедовой каморы зерно или масличные семена возили на мельницу или маслобойку, а оттуда по дворам развозили муку в мешках или масло в сулеях.

В молотьбу для детей всех возрастов находилась самая интересная работа. Разве плохо покататься на току на терке – широкой доске с загнутой вверх передней кромкой, движущейся вслед за катком? И это не баловство, ибо без увесистого груза на терке заделанные у нее снизу стальные зубья не смогут ни растирать солому в полу, ни разминать соломинки так, чтобы получился мягкий зимний корм для скота. Но ребяшня служит не только грузом на терке: надо всегда иметь наготове старое ведро и не прозевать момент, когда лошадь, запряженная в каток, начнет свое «большое дело». Тогда надо мигом скатываться с терки, чтобы она нагруженной не растерла его в дымящееся от конского тепла месиво, с которым потом намаешься, пока соберешь его в ведро.

А кто из мальчишек откажется с кем-нибудь из взрослых поехать на арбе в поле за скошенным хлебом? Порожняком всю дорогу к полю мальчику доверяют править лошадьми, а взрослый напарник может даже поспать, подмостив под себя свитку или серяк. А при загрузке жнивья на арбу – успевай и сгребать его остатки на стерне после каждой забираемой копны, и укладывать на арбу подаваемые снизу навильники. Особенно непросто подхватывать навильник, находясь выше полудрабков, однажды я чуть было не напоролся брюхом на вилы. На обратном пути править лошадьми при нагруженной арбе – дело хитрое, не для детей: здесь можно и перевернуться на косогоре или крутом спуске в степную балку. Зато приятно вздремнуть на самой ее верхушке под мягкое, убаюкивающее покачивание крепко стянутой канатами, шуршащей колосковыми усиками массы жнивья, под пение зависшего над степью жаворонка.

Как и другие сельские дети, я всегда имел посильные моему возрасту обязанности по хозяйству, особенно летом, когда не ходил в школу: утром отправить в стадо, а вечером встретить корову, напоить ее и подпасти на леваде до захода солнца, столько-то раз накормить цыплят, утят, а для поросят нарвать нужной травы и полить ее жидким раствором дерти, белить домотканое полотно, смачивая его водой, раскладывая на траве и переворачивая под палящим южным солнцем. Приходилось работать на прополке огорода, бахчи, поливать грядки в огороде, таская ведрами воду из Берды, укладывать скошенный хлеб в копны и стога, хозяйничать дома, когда отец и мать неотлучно неделями находились на полевых работах. Хватало работы и зимой: вернувшись из школы и пообедав, надо и приготовить уроки, и почистить в клуне, где находилась корова, задать корм корове, принести в хату топливо – плиты засушенного кизяка, кукурузные кочерыжки, будылья и кружала подсолнечника... Я знал, что это моя работа, и никто, кроме меня, ее не сделает.

Но при всем этом дети ухитрялись быть детьми: зимой – хотя бы полчаса перед сном попрыгать на коньках по зеркальной глади скованной льдом речки, весной – попробовать ногой глубину подтаявшего снизу сугроба: кто больше найдет воды. Летом – пострелять из самодельных луков камышовыми стрелами с жестяными наконечниками, сделанными из пустых гуталиновых банок, подобранных в учительском дворе, поудить рыбу в речке и понырять в ней, а там на дне, если повезет, найдутся заржавленная трехлинейка, обоймы к ней и даже пулеметные ленты – следы отгремевшей Гражданской войны. Порох в патронах всегда оказывался сухим, и было очень интересно, разведя костер, бросать в него свои находки, укрывшись за откосом крутого берега, притаиться, выжидать, когда «рванет», а потом дразнить тех, кто испугался, хотя при этом, конечно, всем бывало страшновато.

У себя на леваде я наловчился «таскать ведрами» из речки рыбью мелкоту. Надо опустить в речку привязанное к веревке ведро, обмазанное изнутри тестом из дерти, немного выждать, а потом быстрым движением вытянуть ведро наружу. В нем окажется немало рыбешек, пожелав-

ших полакомиться дертью. А вот Митьке, – моему соседу, – здорово везло на удочках. Бывало, сидим с ним рядом, – и Митька одну за другой вытаскивает две красноперки, а у меня – ничего. Конечно, хитрый Митька сел выше по течению и перехватывает всех красноперок. Меняемся местами, но и после этого у него – опять красноперка, а у меня опять ничего.

Мне нравилось бывать с Митькой – бывалым, разбитным хлопцем, хорошим товарищем, который мог многое рассказать. После двух войн и голода он и его старший брат Федька остались без родителей. Сейчас Федька работал на шахте в Донбассе, а Митька, как он говорил, жил вместе с ним, но летом временами появлялся в своей хате, которая в остальное время стояла облупившейся «пусткой» с заколоченными окнами. Мне Митька признался, что на самом деле он летом беспризорничал, а на зиму устраивался в какой-нибудь детский дом. А однажды он по секрету показал мне настоящий самопал – самодельный пистолет из куска трубки, расплюсненной на конце, прибитой к деревянной рукоятке. Такого не было ни у кого из сельских ребят. После этого мы использовали добываемые из речки патроны для стрельбы из самопала, заряжая его вместо дробы пшеном или горохом.

Зато и я научил Митьку делать свистульку из свежесрезанного вербового прутика и бузиновую «чвиркалку», из которой можно было далеко-далеко чвиркнуть водяной струей.

Митька был смелый мальчик и не боялся купаться в запруженной части речки у водяной мельницы даже тогда, когда ребята с не нашего берега пробовали его прогнать.

– Убирайся из нашего ставка! – кричали они, швыряя в него чем попало.

Митька скрывался от их залпов под водой и, вынырнув в неожиданном для них новом месте, отфыркнувшись, спрашивал:

– А почему это он ваш?

– А потому, что мельница на нашем берегу!

– А если он ваш – попробуйте в нем искупаться!

Но из ребят «с того боку» никто не решался принять вызов Митьки: с ним схватиться в воде – хуже, чем с крокодилом.

– Не бойтесь, никого не трону. Честное босяцкое слово! Воды всем хватит!.. Не хотите? Ладно, мы и без вас поныряем. А ну-ка, Гришка, донырни сюда! – Это уже ко мне.

...Жаркий солнечный день. Небо над степным горизонтом вздрагивает, переливается серебристо-голубой лентой. Старые люди говорят, что это святой Петро гонит свои неисчислимые отары. А вот и покачиваемые порывами ветра длинные стебли Петровых батогов на выгоне. На них скромные цветочки, похожие на крохотные голубые бантики. Курай и перекажи-поле, остатки пырея после выпаса – все пожухло, до ломкости высохло от зноя. Только степной молочай, увенчанный широкой плоской шапкой из желтоватой семенной каши, с маленькими продолговатыми листиками на сочных, гладких, туго напряженных стеблях, в любую минуту готов – только тронь его – брызнуть обжигающим ядовитым белым молочковым соком. Этот сок – лучшее лекарство от всяких ранок, царапин и ссадин.

В этот день мальчики на выгоне охотились на пауков. А научил нас этому все тот же Митька. Сначала надо в норку опустить прикрепленный к концу нитки шарик из черной смолы, которой смолят сапожную дратву. Потом, подергивая за нитку, подразнить паука, пока он не уцепится в шарик и не увязнет лапками в смоле. После этого шарик вместе с хозяином норки можно тащить наружу. Пауки – отвратительные черные шары, разбухшие от множества мелких желтых яичек, чуть помельче рачьей икры. Но самый захватывающий момент – это с хлопком раздавить паужье страшилище голой пяткой. Правда, говорят, что пауки очень кусачие и ядовитые. Зато и пятки у ребят летом покрепче кожаных подметок.

Но вот из-за бугра за речкой с грохотом выскакивает что-то еще никем из нас не виданное. Поднимая столб пыли и отсвечивая серебристыми бликами под солнечными лучами, оно быстро движется по направлению к броду, ведущему через речку к селу. Кто-то крикнул: «Трактор!».

Конечно же, мальчишки вмиг забыли о своих паучьих удочках и в закатанных до колен штанишках побежали навстречу трактору. Взбивая по дороге пыль, они подражали его гудению:

– Дырр-ррр, дырр-ррр...

Встретив трактор, когда он уже переехал брод через Берду, мальчишки повернули обратно. Но даже самые быстроногие едва поспевали за трактором, который шел быстрее любой брички. Когда же он остановился, я увидел, что за его рулем был дядя Иван Холод, который бывал у нас. Мой отец и он были даже сфотографированы вместе в солдатской форме возле автомобиля. А у отца было еще удостоверение с ятями и твердыми знаками о том, что рядовой Кисунько Василий Трифонович является шофером 37-го автомобильно-санитарного отряда.

На тракторе я прочел слово, написанное какими-то неправильными буквами, которое выглядело примерно как «Еогагоп», но в нем буква «Е» – без нижней палочки, буква «а» – прописью а, но с длинным крючком, вторая буква г – прописью s, но вроде бы написана задом наперед. Получается какая-то странная и непонятная надпись: «Fordson».

Пока я ломал голову над этой надписью, к трактору подошел мой отец, поздоровался с Иваном Холодом, а тот ему ответил:

– Здоров будь, тракторист. Пригнал я тебе машину. Попробуй, принимай.

Отец сел на сиденье, а дядя Иван теперь стоял рядом, опершись на крыло трактора. Отец на что-то нажал, за что-то потянул – и трактор поехал. А дядя Холод что-то прокричал на ухо отцу, трактор остановился и снова двинулся, но... задом наперед! Я застыл от удивления, а дядя Холод, когда трактор поравнялся со мной, схватил меня своими ручищами и усадил на крыло трактора. От неожиданности я не успел даже заметить, как это трактор опять вместо задом наперед пошел передом вперед.

С высоты своего положения я разыскал глазами Алешку из соседнего двора и помахал ему рукой: мол, смотри, а ты не верил, что мой отец знает все машины. Да если бы он захотел, то мог бы, как и дядя Холод, возить по району разных начальников на автомобиле. Но отцу это ни к чему: он и так каждый год осенью и зимой нанимается на какую-нибудь маслобойню или паровую мельницу машинистом парового локомотива.

Локомотив – это штука побольше автомобиля, с высоченной трубой и пятым колесом, которое не катится по земле, а вертится в воздухе, и по этому колесу бежит широченный ремень. Через дырку в стене ремень одним концом вбегает в маслобойню, а другим концом тут же выбегает из нее. А внутри маслобойни что-то стучит, покачивается, вертится, и главное, там очень вкусно пахнет сычками. Сычки – сочные, ароматные горсти той самой необыкновенно вкусной коричневатой каши из раздробленных подсолнуховых семян, которая смачно шипит на жаровнях. Потом из этой каши выдавливают масло, и все равно остаются очень вкусные жмыхи – макуха. И что интересно: у трактора, оказывается, тоже есть колесо, которым можно вертеть маслобойню! Обязательно выучусь у отца на тракториста.

Но отец сказал, что я еще мал, чтобы учиться вождению трактора. Вместо этого он заставлял меня зимними вечерами считать под его диктовку какие-то цифры на счетах, записывал их в большую книгу, где было напечатано «Дебет» и «Кредит». Потом подводил черту, писал «Итого» и старательно выводил слова: «Секретарь правления машинно-тракторного товарищества “Знамя”». Под этими словами отец ставил свою подпись. Она у него красивая и разборчивая – не то, что у председателя: какие-то закорючки, и даже не поймешь, какая у него фамилия.

И все же я твердо решил, что когда вырасту, то буду только трактористом. Я ухитрился все запоминать, когда отец учил тракторному делу своих младших братьев, и порой даже подсказывал им, когда они делали что-нибудь не так.

Зима 1929/30 года. Мы с Ванькой – сыном дяди Ивана – учимся в семилетке, недавно открывшейся в районном селе. Ванька – в седьмом классе, я – в пятом. Живем у квартирной хозяйки, очень доброй бабки Ганны по фамилии Корсунь.

Поздний февральский вечер. За окнами, разрисованными морозными узорами, выюга. В такую пору особенно хорошо, закончив подготовку уроков на завтра, сидеть в натопленной хате и слушать под завыванье ветра, как перебирает на хромке сын хозяйки Петро. А с разрешения Петра можно даже подержать хромку в руках, перекинуть ремень через плечо и разок-другой, как настоящий гармонист, пройтись пальцами по клавишам, подвигать мехами. Когда вырасту – обязательно куплю себе гармонь, кожаную тужурку, хромовые сапоги, фуражку-капитанку и галифе из темно-синего сукна – как у Петра.

Но пока что у меня есть только балалайка, – правда, очень старенькая, она часто расклеивается, и ее приходится починять самодельным клеем. Моя бабушка Гудчиха, когда умирала, протянула моей маме завязанный узелком платок с медяками и сказала:

– Обязательно купи Грише балалайку. Я вот, видишь, не успела.

Играть на хромке куда сложнее, чем на балалайке. И все же я уже научился на хромке играть «Шахтерочку», – правда, только отдельно правой рукой и отдельно басами, в уме подбирая под слова, когда-то услышанные от дяди Захара:

Шахтер пашенку не пашет,
Косу в руки не берет,
А на праздник в воскресенье
Прямо в шиночек идет.

Но Петро бережет хромку и редко дает мне поиграть. Вот и сейчас он прячет ее в сундук под замок.

Все садимся вечерять. Сегодня у бабы Ганны очень вкусные галушки, приправленные салом с поджаренным луком. После ужина мы с Ванькой забираемся на теплую лежанку, но долго не можем уснуть.

– Эх, хорошо здесь, а дома лучше.

Оба вспоминаем о своих, которые дома: у Ваньки – мать, братишка Алеша и трехгодовалая Люба, у меня – мать и младшая Оксанка. А отцы наши оба уже в Мариуполе, работают на заводе: дядя Иван – кузнецом, мой отец – помощником машиниста на паровозе. Все это как-то для нас непривычно еще и тем, что вместе с ними уехали на пароконной бричке и их самые младшие братья Дмитрий и Илья. Теперь они грабарничают на Сером и Вороном, возят песок для строительства нового завода. Дядя Захар, как всегда, где-то в Донбассе, и выходит, что из всех мужчин нашего большого семейства в Бельманке сейчас остались только дедушка Трифон и дядя Павло. Остальные не просто на сезонных заработках в Мариуполе, а уже начали там строить дом в рабочем поселке. Значит, отец Ваньки и мой заберут свои семьи в город, и зря в прошедшее лето рядом с нашим домом был выведен под крышу и дом для дяди Павла. Он сможет занять хотя бы и нашу хату.

Мать рассказывала, что у отца работа на паровозе очень удобная: после 12-часовой дневной смены – сутки отдыха, затем 12 часов в ночь – и двое суток отдыха. В свободное время можно и отдохнуть, и поработать с младшими на строительстве дома. Без лошадей, конечно, дом не построишь: надо и пограбарить, чтоб заработать деньги на стройматериалы, подвезти стройматериалы и воду, замесить саман, а ближе к концу – продать лошадей, и это опять же деньги. Вот и приходится Дмитрию и Илье поспевать и на грабарных работах, и на семейной стройке. Однажды, чтобы выиграть время, решили поехать напрямик по льду и чуть не нырнули на дно морское с лошадьми и нагруженной песком бричкой.

...Море. Оно манит меня, хотя я его видел всего один раз, когда после третьего класса мы ездили на экскурсию в Бердянск. Когда на двух арбах, запряженных волами, наша ребятня ватага въезжала в город, меня прежде всего поразила «каменная дорога» – обыкновенная булыжная мостовая. Но наибольший восторг вызвало то, что нас разместили в школе, где было... аж два этажа! Ведь это же все равно что поставить одну хату на другую! И стояла эта школа у самого моря, у которого не было видно того берега! Скоро и мы будем жить в городе, я буду ходить в двухэтажную школу и смогу – летом, конечно, – купаться в море сколько захочу. А закончу школу – пойду учиться на машиниста. А может быть, на машиниста-электрика? У моей матери на открытке довоенного Екатеринослава я видел вагоны трамвая, которые движутся электричеством, и на них, наверное, работают машинисты-электрики. Она работала кондуктором трамвая, и у нее есть фотография, на которой они с подругой сняты в кондукторской форме. Интересно, есть ли в Мариуполе трамвай?

...Перебирая в мыслях всякую всячину, я начинаю засыпать. И снится мне, будто я еще в четвертом классе и иду в степи через бугор в школу. Метет поземка, колючий ветер обжигает лицо, поэтому я иду, повернувшись к ветру спиной. И вдруг сквозь завывание ветра мне слышится из сугроба голос матери:

– Сыночек!

Я оглядываюсь, но нигде ничего, кроме обтекаемых поземкой сугробов, не вижу. А голос все отчетливее повторяет:

– Сыночек!

Я открываю глаза. Ванька спит, за окном свистит ветер, но оттуда отчетливо слышится голос матери. Я вскакиваю, подбегаю к окну и вижу ее лицо, закутанное в заиндевевший платок. Бегу к двери, открываю ее, в теплую хату врываются холодные снеговые вихри.

– Мама!

Проснувшаяся баба Ганна помогает маме снять верхнюю одежду.

– Ты ж, голубонька, совсем окоченела. Сейчас мы тебя отогреем.

– Подождите, там... за порогом. Я сейчас... там куры...

Баба Ганна перекрестилась:

– Боже мой, она, мабуть, помешалась. Успокойся, здесь нет никаких курей.

– Не может быть! Неужели я зря их на себе в такую даль тащила?

Мать выбежала из хаты и вскоре вернулась, волоча огромный мешок, из которого выпирали какие-то острые предметы. Она развязала мешок, и все увидели, что он заполнен тушками забитых кур.

– Зачем так много? – спросила баба Ганна.

– Это плата за мальчиков вперед. Сейчас зима, холодно, курей можно держать под стрехой... Больше у нас ничего не осталось. Нас раскулачили... И вас, Ванечка, тоже, – добавила мать. – И машинно-тракторное товарищество разогнали, как кулацкое.

– Та яки ж вы куркули? – всплеснула руками баба Ганна.

– Сначала увели корову, свинью, – продолжала мать. – Потом взяли серяк, два кожуха, ватное одеяло, а все мое набатраченное приданое я заранее, по подсказке добрых людей, связала в узел и спрятала в клуне в полу. А одна негодница все допытывалась: куда, мол, девала белые наволочки с кружевными прошвами? Из погреба раздали соседям по списку соленые огурцы, капусту и зимнюю заправку для борща – томатный морс. А потом главный раскулачник говорит: «Нехорошо, хозяйка, гостей принимаешь. Угостила бы самогоночкой, закусочкой». Я ему ответила, что самогоночка у нас не водится, закусочку из погреба всю раскулачили. А он, гад и говорит: «Самогоночки мы сейчас добудем, а для закуски к нам из твоей печки борщ так и просится». Пришлось выставить негодям борщ, прямо с пылу, с жару. Все сожрали.

– Щоб вони, подавились отым борщом! – встала баба Ганна.

– На счастье, – продолжала мать, – они не тронули курей. И начала я их ловить, когда все ушли. Да что там ловить? Они ко мне привыкли, не боятся, а я их хватаю, а сама плачу от жалости к ним. Возьмите их на первое время, а там что-нибудь придумаем, рассчитаемся с вами за хлопчиков. Хорошо еще, что плату за Гришино учение мы внесли вперед за весь год.

– Бог з нымы, твоими курямы! И как ты только тащила такую тяжесть на себе пятнадцать верст, да еще в такую ночь? – ответила баба Ганна.

Из слов матери я только сейчас узнал, что вся группа пятого класса, в которой я учился, отличалась не только тем, что мы занимались во вторую смену. Она была платной. Видно, кто-то уже давно навесил на нас ярлыки кулацких детей.

Через несколько дней в район приехал из Мариуполя дядя Иван, с кем-то поговорил, и раскулачивание обеих семей отменили. Вернули даже соленые огурцы и томатный морс. Примерно в это же время учеников семилетки собрали в школе, и какой-то мужчина читал им две статьи: «Головокружение от успехов» и «Ответ товарищам колхозникам». В них говорилось о каких-то перегибах. Мы с Ванькой впервые услышали фамилию Сталин и поняли, что он запрещает раскулачивать середняков. Наши отцы и дед – маломощные середняки, и теперь перегибов можно не бояться. Но вскоре деда Трифона выслали на принудработы за невыполнение плана сдачи хлеба. Ему доводили «план до двора», потом еще и еще, пока у него не кончился хлеб.

Увидеть дедушку мне довелось только осенью, когда уже все жили в Мариуполе в доме, сообща построенном дядей Иваном, моим отцом и их младшими братьями Дмитрием и Ильей. Однажды от неграмотного Трифона Герасимовича пришло письмо, в котором кто-то под его диктовку написал о его жизни и местонахождении. За ним отрядили дядю Илью, а вернулись они оба.

Дед отбывал «принудилровку» в Мелитополе, где такие как он рыли канавы для канализации. Жил он еще с одним дедом на частной квартире, куда их определила милиция. По утрам за ними заходил милиционер, отводил их на работу, а вечером приводил обратно. Но с какого-то дня он перестал приходить, и оба «арестанта» решили сами ходить на работу, но прораб их не признавал без милиционера. Чтобы прокормиться, они начали продавать свои скудные пожитки, попрошайничать. В таком состоянии Илья нашел своего отца и привез его в Мариуполь. А милиционер, как говорили, сам куда-то сбежал, узнав, что его отца тоже раскулачили.

Бабушка Павлина в это время продолжала жить в Бельманке в старой дедовой хате, копаясь в огороде. У нее была корова. В селе оставался жить и дядя Павло со своей семьей. Он был колхозным кузнецом. Но на следующее лето семейный совет решил, что им тоже пора удирать в город от надвигающегося голода, а раньше всего надо было переправить в Мариуполь бабушкину корову. Но как это сделать, если корова, как и весь скот в селе, числилась «законтрактованной» и не могла быть выведена из села иначе как по разнарядке на мясозаготовку? И вот меня во время каникул после шестого класса отправили поездом в село за бабушкиной коровой в сопровождении дяди Захара. На станции Волноваха нам предстояла пересадка. Там было множество людей с мешками, корзинами, чемоданами. Они выбегали к приходящим поездом, но двери вагонов были наглухо заперты, и уехать удавалось лишь немногим, кому посчастливилось устроиться на буферах между вагонами, а то и на крышах вагонов. Так было и тогда, когда подошел нужный нам с дядей Захаром поезд. Но бывалый в дорогах дядя нашел открытое окно в одном из вагонов, толкнул туда сначала меня, а потом и мешок. Не скоро после того, как тронулся поезд, в том же вагоне непонятным для меня образом оказался и он сам.

В Бельманке я пробыл около суток, пока дядя договаривался о «прикомандировании» меня с коровой к перегонщикам гурта скота, предназначенного для мариупольской бойни. За это время успел побывать у нашей хаты, в которую переехали мы когда-то из дедовой хаты. Вспомнилось, что в новой хате мы нашли первого новосела – симпатичную кошку, сладко дремавшую на русской печке. По каким-то народным приметам кошка была запущена в хату за

сутки до нашего переезда. Здесь прошло мое детство, отсюда в мои двенадцать лет, ровно год тому назад, на бричке, запряженной Серым и Вороным, под покровом ночи, уехали в Мариуполь мы с сестрой и наша мама.

Неузнаваемой стала за один год родная хата! Она зияет провалами окон, у которых высажены рамы, дверным проемом без дверей. Куда девался окружавший ее сад? Только на месте шелковицы виден куст побегов, выросших из пня. Живучее дерево! Куда ни глянь – буйствуют бурьяны, и в бывшем саду, и на бывшем подворье. Исчезла загата – стенка, сложенная из уплотненной соломы, обозначавшая границу между садом и улицей. Да разве такая только одна наша хата? Таких, мертвых, в селе больше, чем живых, да и живые – неухоженные, обшарпанные, будто приготовились к смерти. От бабушки Павлины я узнал, что нашу хату хотят приспособить под размещение в ней колхозной кузницы.

Ранним утром бабушка в последний раз подоила корову и передала мне налыгач – на добрую путь-дорогу. Дядя Захар представил нас своим знакомым гуртовщикам, простился со мной: у него заканчивался отпуск и он спешил на свою шахту. Наш пеший коровий марш до Мариуполя с подночевкой в бывшей немецкой колонии продолжался до вечера следующего дня. Я попрощался с гуртовщиками и направился со своей коровой к рабочему поселку, а гурт продолжал свой путь правее, к городской бойне. Но глупышка буренушка долго еще поворачивала голову в сторону гурта, порывалась вернуться к нему и жалобно мычала. Все окончилось бы вполне благополучно, если бы на подходе к поселку, где-то на степном бугре, не обнаружилась потеря одного из моих ботинков, находившихся в перекинутом через плечо мешке. Для экономии обуви я шел всю дорогу босиком, рассчитывая надеть ботинки перед входом в поселок.

Но вообще-то эта буренка оказалась невезучей не только для меня. Трудно было с кормом, и через год дедушка решил продать ее на городском сенном базаре, а на вырученные деньги купить козу. К нему подошли покупатели, долго осматривали корову, а потом один из них сказал:

– Дай-ка, дед, налыгач, проверим, какая она на ходу. Может быть, у нее ноги больные.

Дед не успел опомниться, как поводок оказался в руках у «покупателя», а его самого какая-то толчея оттерла в сторону, а тот, кто вел корову, приговаривал:

– Ну, милая, что-то не везет нам сегодня на покупателей.

А дед где-то из толпы кричал:

– Ты, поганец, куда ведешь мою корову?

А поганец отвечал, обращаясь к своим друзьям:

– Люди добрые, уймите этого афериста!

Деда оттирали от коровы все дальше, да еще и отколотили, а корову увели, и вернулся он домой без коровы, без денег и без козы. А бабушка, когда он ей все это рассказал, сказала:

– Хай им грэць, отим харцызякам! Хорошо, что хоть сам живым вернулся.

Глава третья

*Я о том здесь речь веду,
Что отец попал в беду,
И его утерян след
В годы сталинских побед,
Когда, жизнью не щадя,
Смерть была слугой вождя
Пролетариев всех стран
И сознательных крестьян,
И поди теперь открой-ка:
Как его списала тройка,
Где, когда настиг отца
Роковой плевком свинца?*

Саманно-набивной дом в рабочем поселке имени Апатова в Мариуполе вместил в себя все наше семейство, ранее проживавшее в Бельманке на трех подворьях: деда, дяди Ивана и моего отца. К дому был пристроен сарайчик – он же сени, из которых вела дверь в проходную комнату, а из нее можно было пройти либо прямо в следующую (дальнюю), тоже проходную комнату, либо направо, в крохотную боковушку. Такая же боковушка примыкала и к дальней проходной комнате.

Обе дальние комнаты – проходную и боковушку – занимала семья дяди Ивана. Это была «чистая» половина дома, обогреваемая дымоходом, проложенным в стене от кухонной печки, расположенной в ближней к сеням проходной комнате. В этой же комнате почти во всю длину наружной стены были устроены нары, на которых головами к стене вповалку устраивались на ночлег дедушка, бабушка и их холостые сыновья: Захар, Дмитрий и Илья.

Семья моего отца занимала ближнюю к сеням боковушку, в которой во всю длину правой от двери стены располагалась кровать родителей, в ближнем к двери углу – двухконфорочная кухонная плита, а к ней торцом примыкал мамин сундук, занимая всю оставшуюся по длине часть левой стены. Днем на нашей плите кухарничали мама и бабушка Павлина, а ночью, прикрытая фанерным щитом, она превращалась в кровать для моей сестры. Я спал на сундуке ногами к плите. Между кроватью и сундуком оставался свободным узкий проход от двери к окну, левее окна по наружной стене – самодельный, размером с тумбочку, кухонный столик, над ним на стене – этажерка с тремя полочками для книг.

Позднее к сарайчику была сделана пристройка для коровы, а в самом сарайчике поселился дядя Павло со своей семьей.

Все, кроме дедушки, бабушки, жены дяди Ивана и детворы, не достигшей шестнадцати лет, работали и получали рабочие хлебные и продуктовые карточки. Но особенно трудно приходилось моей маме. Она работала уборщицей в бараках, служивших общежитием для рабочих, строивших трубопрокатный завод. В бараке во всю его длину были двухъярусные нары, на которых всегда одни отдыхали, другие поднимались, собираясь на работу, третьи, вернувшись со смены, ложились отдыхать. Каждый приходивший в барак приносил на обуви комья грязи, которая накапливалась на полу, перемешавшись с разным мусором, где были и окурки, и пустые пачки от махорки, от папирос, обрывки старых газет, в которые заворачивали еду, обглоданные селедочные кости, консервные банки, осколки четвертинок и поллитровок. Все это плотным слоем утрамбовывалось, и уборщице надо было сначала лопатой откапывать пол и выносить всю грязь на улицу, а потом таскать воду от находившейся на улице колонки и холод-

ной водой отмывать пол. Потом все повторялось сначала. Много ведер грязи и воды довелось перетаскать моей маме. От этого у нее произошла тяжелейшая внутренняя травма, устранить которую удалось только через тридцать лет благодаря искусству знаменитого хирурга-гинеколога, когда мне, как генеральному конструктору, удалось устроить маму в соответствующую больницу. А пока что маме пришлось перейти в кубовую, на работу, которая считалась более легкой, чем работа уборщицы в бараке.

Кубовая – это небольшая будка, в которой находится печь с вмурованным в нее большим баком – кубом, а над ним – водопроводный кран. От куба наружу через стенку будки выведен кран, из которого жильцы тех же барачников берут кипяток, заменяющий им чай. Работа кубовщицы ненамного легче, чем работа уборщицы: и здесь приходится таскать ведра с антрацитом в кубовую и со шлаком – из кубовой. И все это при ее здоровье – ради голодного пайка по карточкам, которые к тому же не всегда и отовариваются.

Даже за хлебом приходилось занимать очередь с вечера – иначе можно было остаться с карточками, но без хлеба. Это обычно поручалось детворе. В очередях мы ночевали, вскакивали на переключки. И не только за хлебом: иногда удавалось за ночь выстоять очередь и добыть без карточек до полведра бычковых головок, которые продавал рыбзавод как отходы консервного производства. Сколько вкуснейших блюд можно было из них приготовить! Самым выгодным считалось пропустить их через мясорубку, чтобы после размола можно было есть котлеты, не выбрасывая ни одной косточки.

Летом ребятам можно было подкармливаться на уборке фруктов в соседнем с поселком колхозном саду. В пять утра у правления бригады отбирали себе из детворы рабочую силу. Иной раз бригадир, увидев знакомое лицо, говорил:

– Тебя не возьму. Прошлый раз нажрался фруктов и сбежал.

Или так:

– Не нужен. Вчера плохо работал. Норму не выполнил.

– Дяденька, это был не я. Вы обознались.

А вообще, ребят всегда приходило больше, чем требовалось бригадирам. Но вскоре были созданы постоянные на весь сезон бригады из самых проверенных. Урожаи были хорошие, и работать приходилось от зари до зари. Убирали одни фрукты, потом созревали другие, и так все лето.

Уходя на работу, никто из ребят, конечно, ничего не ел. Завтракали, обедали и ужинали фруктами. Первые дни набрасывались как саранча и набивали животы чем попало. А потом начинали соображать – какая груша, слива или яблоко вкуснее, не спеша добирались до облюбованного плода на самую верхушку дерева. При выходе из сада ребят иногда обыскивали. Разрешалось выносить прямо на виду на руках несколько яблок или груш. Пойманных при обыске из бригады выгоняли.

Лазая по деревьям от зари до зари, ребята здорово уставали, а к усталости добавлялось чувство голода. Фрукты – фруктами, а дома вечером после миски жиденького борща все равно очень хотелось есть. И – очень хотелось уснуть. А на рассвете – как не хотелось подниматься, и как жалко было матерям будить своих маленьких работяг!

Совсем другое дело – пионерский лагерь, в котором мне удалось побывать после седьмого класса. Для размещения лагеря была выбрана полянка, окруженная лесопосадками, над обрывом, под которым в садах белели крытые красной черепицей домики приморской слободы, а за ними виднелись железная дорога к порту, песчаный пляж и сине-зеленое море. На этой поляне ребята из головного отряда, куда попал и я, под руководством пионервожатого поставили красноармейские парусиновые палатки, оборудовали в них дощатые нары, вдоль линии палаток устроили и посыпали песком дорожку – линейку для лагерных построений. В стороне от палаток вырыли погреб для лагерных продуктов. Ребята, строившие лагерь, по очереди три раза в день отправлялись в рабочую столовую, что возле порта, и оттуда в эмалиро-

ванном ведре приносили рыжевато-ржавый, но необыкновенно вкусный суп, в котором даже попадались разварившиеся кусочки мелкой рыбешки, и они легко жевались вместе с костями.

Потом в лагерь привезли армейскую полевую кухню, прибыла первая смена пионеров, и все мы, члены головного отряда, остались в лагере бесплатно. Я не знал, что имею право остаться и на вторую смену, поэтому по окончании срока первой смены пошел работать в сад-колхоз, где меня уже знали по прошлогоднему сезону. А в конце сезона мне выдали даже двенадцать рублей, начисленных на заработанные трудодни.

...В обеденные перерывы ребята, работавшие в саду, купались в протекавшей через него речке. Это – та самая Калка, о которой я еще в Бельманке читал в книжке с твердыми знаками и ятями, сохранившейся со времен церковноприходской школы. Но ее и без книжек знает каждый русский человек. Даже мой неграмотный дед. Только теперь у нее немного другое название: Кальчик. Меня неотвязно преследовала мысль, что мне посчастливится, ныряя и обшаривая илистое или песчаное дно, найти какой-нибудь старинный шлем, щит или меч, как когда-то в Берде находил обоймы с патронами и даже заржавленную, без затвора, винтовку. Хотелось крикнуть ребятам: «А знаете ли вы, что это за речка, в которой вы дурачитесь и визжите, как поросята, подныриваете друг под друга, играете в водяные пятнашки?». И хотелось крикнуть людям: «Да знаете ли вы, что это за речка, и какая святая в ней вода, которой вы поливаете капусту и огурцы в огородах? И какая это святая земля, на которой растет этот сад, стоит поселок, и по которой вы ходите каждый день?».

После седьмого класса мне никуда из-за возраста нельзя было поступить, кроме как в только что открывшийся восьмой класс. Что такое восьмой класс, а вслед за ним девятый, десятый – никто не знал. Прошел слух, что учащиеся этих классов приравниваются к студентам. Правда, не ясно было, будут ли нам платить стипендию, но уж хлебные и продовольственные карточки обязательно будут студенческие. И это был не только слух: откуда-то поступила команда всем восьмиклассникам с 1 сентября 1932 года выдать студенческие карточки, сняв их с учета как иждивенцев по месту работы родителей. Между прочим, это давало нам по 600 граммов хлеба в день вместо 400. Однако, как говорится, недолго музыка играла: с 1 января 1933 года студенческие карточки восьмиклассникам были отменены, а как иждивенцы мы были уже давно сняты с учета. Остались мы совсем без карточек. Кончался январь, а мы продолжали оставаться нахлебниками у своих родителей. Это совпало с самым пиком голодомора в украинских селах и пиком продовольственных перебоев в городах, и наш класс решил бастовать.

В день назначенного начала забастовки первый урок приходился на физику, – кстати, учительница физики была нашей классной руководительницей. Она решила начать урок с вызова к доске Федьки Голояда – переростка, самого старшего в классе. После ее слов: «Голояд, к доске» – Федька встал и вызовом ответил:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.